

1984



1984

15

Вече

Независимый русский альманах

15

Четвертый год издания

Редактируют: Евгений Вагин и Олег Красовский

Обложка работы художника Адама Русака

Издатель:

Российское Национальное Объединение в ФРГ

© Russischer Nationaler Verein (RNV) e. V., 1984

München

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
необязательно выражают мнение редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Бородин. К русской эмиграции	5
От Редакции	13
РУССКОЕ ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ	
Е. Вертлиб. Шукшин и русское духовное Возрождение	25
УМАЛЧИВАЕМОЕ И ЗАБЫТОЕ	
Л. Келер. Священная печаль	47
ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ	
К. де Рошефор. Влияние древне-русской деревянной архитектуры севера на развитие зодчества в России	65
Трибуна «ВЕЧЕ»	
О. Поляков. Птенцы из партийно-бюрократического инкубатора	89
В. Вулич. О „бесстрастии духа“	99
О. Бирюков. Русофобство по псевдо-Солженицынски	129
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ	
П. Мейер. Записки в связи с государственным переворотом 27 февраля – 3 марта 1917. (Окончание)	141
ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ	
М. Мондич. Штрафной батальон (окончание)	167
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ	
Р. Полчанинов. 75-летие Организации Российских Юных Разведчиков	205
Л. К. Ценный почин	211
Е. В. В. И. Криворотов (1902-1984)	215
ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ	
Игумен Геннадий (Эйкалович). Христианин – не Христос, а мессианист – не Мессия	223
А. Федоров. К 1000-летию Крещения Руси	226

К РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Неумолимо приближается то время, когда русской эмиграции придется отвечать на вопрос: как она представляет себе свою роль в дальнейших российских событиях? И ответ этот может оказаться двояким.

Либо будет осознана оторванность эмиграции от непосредственной национальной жизни и, следствием того, отставание от развития национальной мысли и русского дела. И тогда эмиграция признается в своей вспомогательной роли, обнаружив при том чуткость и терпение, и, конечно, скромность в притязаниях.

Либо, выбрав проторенный путь предреволюционной эмиграции, провозгласит „заграницу“ местом кристаллизации „чистой мысли“ и „чистого дела“ и, по мере развития событий, будет подыскивать заинтересованную державу, которая в нужное время предоставит активному эмиграционному ядру пресловутые „пломбированные вагоны“. В этом случае естественно допустить, что сама Россия, по своему осознавшая национальные задачи и цели, не вышлет более навстречу делегацию с ключами и „броневиком-постаментом“. Повторение прошлого – не только фарс, но и преступление. И тогда эмигрантские притязания могут быть удовлетворены только посредством „третьего лица“. Все последствия этого представить не трудно.

Сегодня Россия далека от такой ситуации, когда могут возникнуть подобные проблемы. Но характер активности эмиграции уже сегодня понуждает задуматься о вопросах

взаимоотношения еще робкого, но уже зримого русского дела с делом российской эмиграции, которое, хотя и не столь робко, но достаточно аморфно и противоречиво по существу.

Можно уверенно предположить, что у каждой эмиграции имеются заслуги перед будущим своей страны, как бы это будущее ни оценивать. То есть, эмиграция всегда есть живая часть национального тела. И у нынешней русской эмиграции достоинств более, чем у какой-либо другой.

Но здесь должно оговориться, что имеем мы в виду именно русскую эмиграцию, а не российскую вообще, и когда говорим о „русском деле“, то имеем в виду исключительно русскую проблему, ибо таковая не только есть, но и является стержневой во всем комплексе российских проблем хотя бы уже потому, что именно русские, как нация, оказались ныне в наиболее критическом положении.

Итак, признав несомненные достоинства русской эмиграции, приходится с сожалением констатировать, что их совершенно недостаточно для формирования хотя бы относительно единого взгляда на судьбу покинутой родины. Разобшение русской эмиграции идет не только по вертикали, то есть по поколениям, но и по горизонтали и по всем прочим геометрическим протяженностям. Характер разобшения, стиль отношений, полемики, борьбы, конкуренции, именно характер и стиль, производят на нас, незнакомых с особенностями эмигрантского бытия, удручающее впечатление.

Но пока все это носило „междоусобный характер“, мы могли пожимать плечами и сочувствовать, и высказывать пожелания, которые никого ни к чему не обязывали. Но современем эмигрантский стиль утверждения истин обернулся острием на Россию, на существующие в России мировоззренческие направления, на отдельных их представителей, и мы стали узнавать интонации, известные нам по учебникам. Мы начали задумываться над тем, не порождает ли само эмигрантское бытие, независимо от

идеологии и мировоззрения, некую особую психологическую константу, которая ставит эмигранта в позицию „пророка вне отечества“.

И поэтому сегодня мы рискуем предложить вопрос о **праве эмигранта на позицию** по отношению к национальному делу. Речь пойдет не о юридическом праве. Оно бесспорно. Права человека, что определены в международных документах, утверждаются для Человека вообще и каждого человека в частности, без учета ситуации, в которой находится или может находиться тот или иной человек. Только такая постановка вопроса и имеет положительный смысл. Всякая прочая была бы юридическим лукавством и словоблудием.

И тем не менее, эта постановка вопроса имеет лишь установочный характер.

Неоспоримо, к примеру, право одного человека критиковать другого, но никто не воспользуется этим правом на похоронах объекта критики, а если бы кто-то все же воспользовался им, то все прочие справедливо оценили бы такое поведение как злоупотребление правом, то есть нарушение неписаного правила пользования правом. Таким образом, кроме неоспоримых прав человека существуют еще и определенные **правила** реализации этих прав.

Возвращаясь к проблеме отечества и эмиграции, отдадим должное известному суждению, что человек, покинувший страну, где существует и узаконена та или иная степень несвободы, получает возможность говорить полным голосом, прямым текстом, что он освобождается не только от цензуры внешней, но и, самое главное, от цензуры внутренней, которую мог не замечать прежде, когда пытался сохранить за собой одновременно и свободу слова и, скажем, свободу передвижения. Раскрепощение мысли, в таком случае, действительно способствует „кристаллизации“ сознания и активизирует творческий процесс.

Именно это суждение являлось всегда, является и теперь исходным моментом в определении своей позиции большинством эмиграции (мы исключаем из темы

такую постановку вопроса, когда эмиграция рассматривается как подвиг). Если бы данное суждение имело абсолютную достоверность, то не о чем было бы и говорить. Но, прежде чем оценить по достоинству такое суждение, то есть оценить приобретенное человеком вследствие эмиграции, мы попытаемся указать на утраты, коими сопровождается эмиграция.

Эмиграция, в сущности, есть всегда – побег, в известной степени – уклонение, потому что **всегда** имеется альтернатива: остаться и бороться, бороться и погибнуть. Кто рискнет утверждать, что эта альтернатива противоестественна человеку? История показывает, что она, наоборот, человеку присуща и органична. У эмиграции же имеются два мотива: 1) Я хочу жить, и я имею на это право! и 2) **Там** я сделаю больше!

Оба мотива вполне моральны. Человек имеет право жить, и **там** он, действительно, может сделать больше. Но как бы добротнo эмигрант не был устроен в чужом мире, он, наверное, все же ощущает неполноту своего бытия, и наивно было бы полагать, что эта действительная неполнота не имеет рецидивов в сознании, что она не оставляет последствий в мировоззренческом комплексе.

Утратив органическую связь с отечеством, выпав из его тела, эмигрант закрепляется силой притяжения на определенной орбите, слившись с себе подобными в некое относительное целое, существующее и развивающееся согласно уже другим законам и параметрам. Степень его „родства“, степень его принадлежности к покинутой родине далее будет определяться той напряженностью, с которой он станет вглядываться-всматриваться в судьбу отечества. „Выпадение“ эмигранта всегда случается на какой-то определенной стадии его собственного развития, которое до момента „выпадения“ было органично всему национальному процессу. И если эмигрант это свое состояние возьмет за основу для какого-то положительного дела, то рано или поздно он войдет в противоречие с ходом событий у себя на родине; дело, которому он отдаст свою энергию, станет всего лишь его личным

делом, и так случится уже потому хотя бы, что орбита его нового пребывания пролегает не в пустоте, но в обстановке, которая имеет свои особенности, где преследуются иные, часто противоположные интересы, и их невозможно игнорировать настолько, чтобы быть от них совершенно независимым.

Личное дело эмигранта или дело того или иного эмигрантского политического образования, если оно, это дело, формируется без учета особенностей внутреннего национального процесса, рано или поздно обнаружится как **тенденция к насилию национальной ситуации**, а если эмиграция получит доступ к инициативе, то окажется насилием ситуации, как случилось в 1917 году.

Мы не открываем каких-то новых истин, мы говорим о том, что понято давно многими эмигрантами, мы встречаемся с этим пониманием на страницах эмигрантской прессы.

Но гораздо чаще, неизмеримо чаще мы встречаемся с принципиально иным отношением к задачам и возможностям нынешней русской эмиграции.

Взятое за основу, возведенное в догмат суждение о преимуществах эмигрантского бытия диктует значительному числу эмигрантов решительно безответственное поведение по отношению к национальным процессам, которые в большей или меньшей степени, но определяют и отражают существо происходящего в России.

Беспокойство вызывает то обстоятельство, что значительная часть русской эмиграции, как нам кажется, поражена недугом, возможно, присущим всякой эмиграции, и который мы рискуем определить как – „эффект нетерпения“.

„У всех есть Родина, но только у нас – Россия!“ Нелегко русскому покинуть Россию, но совсем невозможно представить себе невозвращение! А жизнь коротка, и в её пределы не всегда укладываются желаемые события.

У целого поколения эмигрантов сроки на исходе. И вот на исходе срока вдруг появляется надежда – Россия

оживает, в эмиграцию пробивается её голос, возникает даже зачаток робкого контакта – и какое разочарование! Оказывающаяся, Россия обречена не на „событие“, а на „процесс“, характер которого не оставляет никаких надежд на возвращение.

И вот тогда на тех, кто, собственно, и свершает сегодня историю России, обрушивается гнев нетерпеливых эмигрантов. Как это, дескать, возможно, когда народ стонет под игом большевизма, нам толкуют о „процессе“, да еще постепенном, да еще „не революционном“! И при том как-то ускользает из внимания эмигрантов тот, казалось бы, очевидный факт, что „народ“ – это, в первую очередь, именно те русские, голос которых они слышат, по существу даже, это вообще единственный голос, который они слышат, а все прочие возможные голоса – это лишь предположение, лишь рабочая гипотеза нетерпения.

Казалось бы, если мы, „стонущие под игом большевизма“, говорим о процессе, то ведь стоило бы к тому прислушаться, задуматься, попытаться понять мотивы наших мнений. В конце концов, все, что сегодня в какой-то мере достигнуто в России, хотя бы та же слышимость нашего голоса – это же одних только наших рук дело! И отсюда вполне справедливый вопрос: говорящие, бранящиеся, неспособные к внутреннему объединению, неспособные ни к какому практическому действию, устроенные в относительном благополучии и безопасности, продумали ли вы, наши русские эмигранты, свое собственное право рецептировать вне вас творящуюся русскую историю?

Нетрудно понять, что для значительной части старой русской эмиграции политическое кредо – своеобразный мир души или отдушина, в известном смысле даже – противоядие к ассимиляции, этаким мир образов родины, выношенный мечтой и страданием. Можно понять и все чувства, что могут возникнуть при столкновении этого мира с фактами реальной действительности.

Имеет ли право эмигрант отстаивать свой мир образов и идей, если даже они в полном противоречии с логикой событий? Несомненно! Но и логика событий имеет столь же определенные права не считаться со своими, столь родными и симпатичными оппонентами. Именно горький исторический опыт диктует жестокую, но выверенную формулировку: эмигрантское политическое сознание несет в себе опасные накладки, порожденные самой эмигрантской ситуацией. И поэтому сегодня любая политическая сила или даже просто общественное явление внутри России не будет иметь иного взгляда на эмиграцию, кроме как на вспомогательный и вторичный фактор, то есть, как бы ныне ни раскладывались силы внутри России, как бы ни было противоречиво само по себе национально-религиозное движение, – оно едино в одном: не повторить опыт 17-го года, в первую очередь именно в той его части, где инициатива в действии перешла к эмигрантскому меньшинству.

В этом нет упрямого предубеждения. Анализ программ и программных мнений эмигрантского актива не оставляет сомнений относительно откровенной беспочвенности большинства политических конструкций эмигрантского сознания. Примером тому может служить программа Дмитрия Панина, человека, чьей энергии и работоспособности можно только позавидовать.

Дм. Панин претендует на позитивную программу действия: в стране создаются микробратства, которые затем объединяются в силы освобождения, руководимые заграничным центром, располагающим средствами информации. Основная задача эмигрантского центра в подготовительный период, по мнению Панина – распространение правдивой информации, одним из элементов которой является „новая философская система, развивающая в людях великодушные и исключаящая мстительность и сведение счетов“.

„Новая философская система“ – ни больше, ни меньше! И что же? Она уже разработана Дм. Паниным, эта философская система? Этот пустячок, способный предотвра

тить братоубийственную войну и гибель нации? Да нет же! Давайте сначала будем создавать микробратства! А на какой основе? Да все на той же, на негативной: долой коммунистическую диктатуру! А остальное приложится!

Уж если Дм. Панин решил копировать большевистскую революцию, то ему следовало бы знать, что ей действительно предшествовала революция в умах известной части общества, что задолго до всяких микробратств-партиячек был „создан“ и распространен марксизм – глобальнейшее философско-политическое учение, которое сегодня завоевало половину мира, если не больше. А что готов противопоставить Панин марксизму? Что он плох? Это – не программа! Это – эмоции, кстати, доступные сегодня кому угодно, и ради обладания этой эмоцией вовсе не обязательно эмигрировать. Вся же прочая механика панинской программы – это соломенный манекен, и Панину невозможно себе даже представить, насколько серьезнее и основательнее настроены сегодня тихие и незаметные русские мальчики и уже не мальчики, сколь глубоко их чувство ответственности перед Россией; сколь пытлива и требовательна их мысль, вдохновленная христианскими истинами. Призыв Панина найдет сегодня отклик лишь в тех душах, кои во все времена были носителями идеи разрушения, кого называли бесами, кому мы уже и без того обязаны катастрофическим положением нашей нации.

Мы остановились здесь на программе Дм. Панина столь подробно лишь потому, что она наиболее позитивна из всех прочих, нам известных, то есть это, по крайней мере, программа, и с ней можно программно спорить

А прочие эмигрантские образования, группирующиеся вокруг журналов и центров, – что они могут предложить нам, кроме пачки симпатий и вороха эмоций? Информацию? Средства? Литературу? Может быть, образец подвига? Ну, что может продиктовать нам почтительное отношение к эмиграции?! Русские патриотические журналы нищи и бессильны, мы уже устали пробивать к ним пути-дорожки, нерентабельная это работа! Чаше она

приносит нам излишний и неоправданный риск. К тому же мы сильно подозреваем, что нашим эмигрантским братьям более всего надобно, чтобы мы шли в тюрьмы и лагеря и дали им тем самым возможность лишний раз протрубить на страницах своей прессы о жестокостях большевистского режима и о правоте своего нетерпения. Ведь совсем недавно русские эмигрантские журналы буквально требовали ареста о. Димитрия! „Почему его не сажают?!“

И все же наше отношение к русской эмиграции достаточно терпимо и вполне почтительно по той простой причине, что это эмиграция русских людей, своей, пусть отличной любовью, любящих Россию и отчуждением от нее выстрадавших право иметь мнение и желания. Остается лишь надеяться, что и наши мнения и желания будут признаны правомочными, и, как знать, может быть тогда-то возникнет необходимость позитивного диалога к общей пользе русского дела. Пока же для нас очевидно несоответствие между притязаниями эмиграции и её идейно-деловым потенциалом.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Обращение Л. Бородин к русской эмиграции, было получено редакцией «Вече» ранней весной 1982 г. Мы намеривались опубликовать его в пятом выпуске «Вече». Однако, узнав об аресте Л. Бородин органами КГБ, от публикации, по понятным причинам, воздержались. Теперь же, после того как коммунистическим судом Л. Бородину вынесен чудовищный приговор – 15 лет заключения и ссылки – мы решили ознакомить читателей «Вече» с Обращением. Решение это принято не только потому, что больше ничто не может ухудшить положение

ние Л. Бородина в коммунистических застенках, но и потому, что мы считаем, что каждое упоминание его имени, каждая публикация написанного, им должны будоражить совесть честных людей русского Зарубежья, призывать их к поискам путей оказания помощи русскому патриоту.

Обращение Л. Бородина имеет точный адрес: к **русской** эмиграции. Это необходимо подчеркнуть особо, так как сама наша эмиграция (в последние годы особенно) – где надо и не надо – стыдливо маскируется расплывчатой, аморфной, никого не удовлетворяющей „российскостью“.

Далее, Обращение Л. Бородина есть голос нынешней русской интеллигенции С РОДИНЫ, и направлен он – к интеллигенции же, оказавшейся в эмиграции. Это показательно, но здесь же присутствует и некоторая ограниченность.

Поставленная им дилемма, – два возможных пути „делания“ для русской эмиграции – обращена к интеллигенции, и к ней исключительно. Наш альманах с самого начала занял в этом вопросе вполне определенную позицию, которую можно кратко резюмировать следующим образом:

Признавая высокие заслуги многих представителей русской интеллигенции в развитии отечественной культуры и науки в прошлом, нельзя не согласиться с теми, кто подчеркивает прогрессивно эволюционировавшую оторванность интеллигенции в целом от „непосредственной национальной жизни“, её изначальную оппозиционность самим основам религиозного и государственно-национального русского бытия. Отвернувшаяся от Православия, активно способствовавшая подрывной работе врагов традиционного государственного Порядка, – интеллигенция все более удалялась от своего Народа, фактически переставала быть **русской**. Пресловутый „европеизм“ интеллигенции все более уступал место безличному космополитизму, который на деле оказался – служением чуждым интересам.

Интеллигенция была сурово, жестоко наказана собы-

тиями так называемой „русской революции“, подготовке которой она содействовала, будто поддавшись инстинкту самоуничтожения. Лучшие её представители были ликвидированы, что и следовало ожидать с самого начала, а её имя переняли новые поколения интеллектуалов, которых (вполне основательно), стали именовать советской интеллигенцией. Если удалось коммунистам создать „гомо советикус“ – это и есть именно советский интеллигент, в идейную родословную которого – увы! – входит и российская интеллигенция прошлого – начала нынешнего века.

Но неисповедимы пути Господни, и – хочется верить – не оставлена Россия Промыслом Божиим! Та основная – духовная и материальная „величина“, с реальными интересами которой не считались уже первые интеллигентно-разночинцы, нуждами которой безбожно спекулировали их идеологические последователи, которую не истребили целиком новые правители лишь потому, что нуждались в бесплатной рабской силе, – эта СИЛА все более начинает себя осознавать и определять сама грядущие судьбы России. Обманутый псевдо-религиозными лозунгами, быстро очнувшийся, но скованный мгновенно по рукам и ногам, уничтожавшийся геноцидно десятилетиями, вплоть до многомиллионного жертвоприношения во Второй мировой войне, наш великий народ не только сохранил в глубинах, в тайниках души свои святыни, но и выявил в результате нечеловеческих испытаний, этого уникального опыта, своих лучших людей, (по терминологии Достоевского). Лучшие из лучших беспощадно ликвидировались с самого начала, но с течением времени образовывался и становился все „толще“ слой национально-мыслящих и чувствующих, само-сознающих русских инженеров, военных, техников, научных работников, – людей с высоким образованием и прекрасным знанием жизни. Вот их то с полным правом (и впервые в истории!) можно и нужно называть русской интеллигенцией. Если Бородин говорит от имени этих русских людей – к его словам следует прислушаться крайне внимательно.

Но к кому обращается Бородин в своем призыве? Он справедливо констатирует „разобщение русской эмиграции“ – по всем параметрам. Общим местом стало разделение эмиграции на три „волны“. При этом, хотя „третья волна“ и не может претендовать на русскость в своем подавляющем большинстве, что подчеркивают сами её представители, выдвинувшие вздорный термин – „русскоязычность“, – но фактически именно её идеологические „рупоры“ заявляют монополию на определение „дальнейших российских событий“.

Если говорить о эмиграции пореволюционной – в живых остались буквально единицы; в лучших случаях перед нами – символы преемственности духовных традиций, идейных течений. Но именно эта „волна“ оставила после себя уникально богатое и разнообразное наследство: книжное, журнальное и рукописное (неопубликованное), которое до сих пор еще не осмыслено, как должно. Работа такого осмысления, в плане не только культурно-религиозном, но и политическом, идеологическом, должна была бы вестись соединенными усилиями: здесь, и на родине. Названное наследие могло бы „дать“ исключительно много в аспекте „вспомогательном“ (по слову Бородина) – и нужно только пожалеть, что на родину отдельные части этого наследия поступают медленно и часто в сильно „препарированном“ виде. Отсюда, от неточной, неполной информации – неумеренный энтузиазм в отношении одних лиц и явлений, и столь же неумеренный скептицизм – в отношении других.

Вторая „волна“ русской эмиграции – (послевоенной) – приближается в своем большинстве к опасному возрастному рубежу, когда тают физические силы и энергия, ослабевают порой и умственные способности. С одной стороны, (казалось бы), эти люди, прошедшие советскую школу, в прямом и переносном смысле, должны достаточно отчетливо представлять себе положение дел на родине. Тем более, что за прошедшие десятилетия они приобрели и драгоценный опыт жизни на Западе. На деле положение оказывается много сложнее и запутаннее.

Сейчас еще рано определять размеры того наследия, которое оставит, в назидание потомству, вторая „волна“ русской эмиграции, но уже видно, что оно будет несравнимо, ни по размеру, ни по „качеству“ с тем, что осталось нам от первых русских эмигрантов.

Но еще многие из этого поколения эмиграции чувствуют себя в расцвете сил и претендуют на роли далеко не второстепенные, в решении российских судеб. Не к части ли эмиграции наилучше организованной, именно к единственной реально существующей эмигрантской организации, обращены иронические слова Бородина о повторении „проторенного пути предреволюционной эмиграции“? Но почитать себя „местом кристаллизации чистой мысли“ и „чистого дела“ можно было бы при: а) наличии постоянной духовной и „материальной“ связи с родиной; б) способности правильного осмысления прошлого и происходящих на родине процессов; в) самоотверженном служении русскому делу, русскому народу (что, конечно, существенно осложняет отношения с любой „заинтересованной державой“).

Не следует сбрасывать со счетов и следующее обстоятельство психологического характера. Советская пропаганда усиленно продолжает муслировать тезис о „карателях“, коллаборантах – с целью бросить тень на всю послевоенную русскую эмиграцию. Для людей, многие из которых до сих пор не оправились вполне от шока насильственных выдач „союзниками“, послевоенных похищений и убийств из-за угла, продолжающихся провокаций КГБ в печати (не только советской, но и западной), развитие событий и процессов на родине, психология новой русской интеллигенции, её запросы и интересы (вплоть до специфики религиозных исканий), остаются непонятными и подчас – чуждыми. Многим Россия и сегодня представляется такой, какой они её покинули в 30-е, 40-е годы. И миф о всемогуществе, всеприсутствии КГБ поддерживается представлениями еще сталинской эпохи. Достаточно почитать прозу писателей второй эмиграции...

Такое отношение и понимание (в сущности – непонимание каких-то важных вещей, особенностей современной обстановки) определяет направление работы некоторых организаций и эмигрантских печатных органов, стиль полемики, приемы конкуренции...

Л. Бородин скороговоркой упоминает о „несомненных достоинствах“ русской эмиграции – между тем, проблема эта немаловажная.

Не существует до сих пор истории русской эмиграции, объективно написанных трудов о русской зарубежной жизни, усиленно замалчиваются (и при всяком удобном случае, изымаются из западных библиотек) ценнейшие эмигрантские издания, появившиеся в свое время. Поэтому многое оказалось забытым даже и самими „старыми“ эмигрантами, а очень многое вообще неизвестно русским людям на родине (из того, что некогда было раскрыто). Речь идет сейчас исключительно о „печатно-документальном“ аспекте русского Зарубежья, о имевших место публикациях – ведь это практически единственный способ „воздействия“ эмигрантов на умы и души соотечественников в России.

Особенно в первые пореволюционные годы, а затем в 20-е и 30-е годы, за рубежом появилось огромное количество ценнейшей литературы на русском языке, значение которой не только не уменьшается со временем, но прогрессивно увеличивается, „актуализируется“.

Достаточно упомянуть о бесконечном списке мемуаров: с воспоминаниями об увиденном и пережитом, своей интерпретацией событий, описаниями своей роли в них (действительной, выдуманной или маскируемой), выступили практически все оставшиеся в живых главные деятели предреволюционной эпохи и „русской смуты“. Эти мемуары имеют значение первоисточника: знакомство с ними раскрывает сокровенные внутренние механизмы совершавшегося, позволяет живо представить тех, кто „делал“ революцию и догадаться о двигавших ими мотивах. К воспоминаниям современников примыкают публикации документов, каковых тоже было немало за гра-

ницей (да и ранние советские публикации подчас легче бывает достать здесь). Взятые в целом, они составляют внушительное „обвинительное заключение“ против тех темных сил, которые привели мир к нынешнему безотрадному положению. Наконец, даже простая хроника из эмигрантской периодики приобретает сегодня жгучую злободневность в некоторых моментах.

Трудно себе представить, какой колоссальной силой воздействия обладают эмигрантские издания, попадающие на родину, насколько они могут быть там авторитетны. В связи с этим – насколько возрастает моральная ответственность тех, кто пишет и публикуется в этих изданиях даже и сегодня. На русской национальной печати лежит высокий долг: дать верные ориентиры и указания, предоставить правдивую информацию, раскрыть механизмы фальсификаций с помощью доступных здесь средств и материалов.

Возможен ли в эмиграции, „хотя бы относительно единый взгляд на судьбу покинутой родины“? Л. Бородин сетует на отсутствие такого единого взгляда и тем самым обнаруживает непонимание специфики эмигрантской жизни, западной жизни вообще. Слава Богу, при всех существующих проблемах и затруднениях, здесь, в эмиграции, есть возможность сравнительно свободного обмена мнениями, и никто не может принудить к обязательному „единому“ взгляду. Это относится к числу „несомненных достоинств“ эмигрантского бытия, как такового.

Разумеется, разные мнения высказываются в разных аудиториях, и далеко не всякое мнение может рассчитывать на широкий круг слушателей. Но, в принципе, свободно могут высказываться все желающие (пожиная затем, естественно, плоды).

Л. Бородин неверно ставит вопрос: речь должна идти не о формулировании непременно единого взгляда, а о создании концепции, которая максимально приближалась бы к истине, учитывая нужды „покинутой родины“ и стремилась к служению её подлинным интересам. В

известном смысле, это есть проблема Русской Православной Церкви за границей. Расколотая на несколько „юрисдикций“, она не имеет „единого взгляда“ по некоторым принципиальным вопросам. Можно печаловаться о такой розни, но нельзя ради ложного единства поступаться принципами, отступать от истины. Истина – одна, и она – неделима.

„Разобщения“ в эмигрантской среде – неизбежны. Если бы появился здесь некий „единый центр“, с целью давать директивные указания на родину, к такому центру следовало бы отнестись с обоснованным недоверием. Во всяком случае, подбор людей в таком центре не должен был бы вызывать ни малейших подозрений в плане национально-религиозном.

Заслуживает внимания рассуждение Л. Бородина о неизбежности постепенного отрыва эмигранта от „хода событий на родине“. Действительно, утратив живую связь с родиной, теряешь со временем и живое ощущение там происходящего. Не здесь ли лежат психологические корни взаимонепонимания представителей разных эмигрантских поколений? Логично, что недавно „оттуда“ прибывшие живее и острее ощущают процессы, идущие там, даже если не могут объяснить их удовлетворительно. Оставившие родину в определенном возрасте, и на определенном этапе её исторической эволюции (а сам факт эволюции отрицать невозможно), как бы „застывают“; они ищут объяснений происходящего теперь, из своего (!) прошлого опыта, а этого, как правило, оказывается недостаточным. Впрочем, это не значит, что подобные объяснения бесполезны, неэффективны. В конце концов, информации о положении на родине в эмиграции неизмеримо больше, чем ТАМ, и в чем-то, пусть не во всем, она „заменяет“, остро переживаемую, нехватку живой, человеческой связи.

Недооценив „несомненные достоинства“ русской эмиграции, Л. Бородин явно переоценивает её нынешние возможности, когда рассуждает о „тенденции к насилию национальной ситуации“. Чтобы такая тенденция обна-

ружилась, имела возможность „материализоваться“ – эмиграция должна располагать немалыми силами и возможностями. Только тогда это серьезно.

Были времена, когда русская эмиграция составляла значительную политическую и даже военную силу: не случайны были похищения руководителей РОВСа, провокации в широком масштабе типа „Треста“, послевоенные Комитеты по возвращению на родину. Сравнительно недавно и западные радиостанции, вещающие на Россию, представляли собой реальную опасность для советского режима, с которой необходимо было считаться. Наглядным свидетельством того, что русские силы в эмиграции слабеют, фактически сходят на нет, может служить история Радио „Свобода“ в последние годы. Если среди сотрудников её т.н. Русской Службы (штатных и нештатных) нет русских – о чем можно говорить? Законны претензии Л. Бородине к „русским патриотическим журналам“, которые свидетельствуют, что ни о каком „насилии национальной ситуации“ с русской стороны в эмиграции, ныне не может быть и речи. Чьи-то субъективные пожелания – не в счет.

Не поражен ли до известной степени тем недугом, который он определил как „эффект нетерпения“, сам автор Обращения к русской эмиграции? Только его нетерпение обращено на русскую эмиграцию, от которой он и его единомышленники, ожидают много больше того, что она может дать, в нынешнем её печальном состоянии. Нетерпение понятное, законное, рискнем сказать – святое нетерпение.

Ибо у русской эмиграции есть действительный, и немалый долг перед покинутой родиной, и долг этот – пора платить! Обращение свидетельствует, сколь многого ждут от нас на родине, с какой надеждой (отсюда – и разочарования) смотрят на тех русских, которые в условиях свободы могут (не просто могли бы, но – должны, обязаны!) сделать то, что немыслимо в советских условиях. Ждут помощи, совета, делового сотрудничества. А вместо этого до них доносятся наши ссоры и свары,

необыкновенные претензии и минимум серьезной работы, чрезмерная поглощенность личными проблемами и слишком робкие (боязливые и скупые) усилия для поддержки русского дела. И нам, русским эмигрантам, должно быть от этих справедливых (хотя часто лишь подразумеваемых) упреков – стыдно...

Тяжел, и совсем не обоснователен, другой упрек Л. Бородин: подозрение, что некоторым „эмигрантским братьям“ более всего надобно, чтобы ТАМ „шли в тюрьмы и лагеря, и дали тем самым возможность лишний раз протрубить на страницах своей прессы о жестокостях большевистского режима“.

Нет, совсем не обоснователен тяжелый этот упрек: судьба самого Бородина говорит об этом. Можно было бы вспомнить и другое: как принимают здесь, на Западе, наши эмигрантские братья тех немногих русских, кто протрубили свое по лагерям, и кому посчастливилось вырваться в свободный мир. Подозрения, недоверие, отказ в конкретной помощи. Вспомним покойного Ю. Машкова. Много ли помогла ему русская эмиграция? А ведь он мог сделать столько полезного, он, за 17 лет неволи, ставший убежденным русским патриотом. Многие ли выступили в его защиту от подлых посмертных обвинений? Нет, при таком отношении к соотечественникам здесь, в условиях благополучия и свободы, трудно надеяться на конструктивный вклад русской эмиграции в дело созидания новой России.

России сейчас – как таковой – нет. Есть анонимный шифр: СССР. Но есть конкретные русские люди, русский народ, тысячелетие крещения которого мы будем отмечать через несколько лет. И, как никогда, нужна человеческая, национальная солидарность, нужны взаимное доверие и взаимная помощь.

Обращение Л. Бородин – это призыв к солидарности, за которым близко знавшие его, могут угадать крик о помощи, перед самым арестом. Бородин осужден еще на 15 лет; до сих пор отбывает свой 20-летний срок И. Огурцов; сколько неведомых нам по имени русских патриотов

томятся в советских лагерях и тюрьмах. Уже одно повседневное помятование этого должно заставить нашу русскую эмиграцию отказаться от мелочного эгоизма, пожертвовать часть своих сил и средств (да, да - и средств!) национальному делу, оправдать надежду, веру, которую питают наши соотечественники на родине к той части русского народа, которая пользуется преимуществами свободного существования в этом, еще свободном, мире.

РУССКАЯ ЖИЗНЬ

Национальная, внепартийная, общественная демократическая ежедневная газета, издаваемая в городе Сан Франциско, США с августа 1921 года.

Редактор А. А. Соллогуб

Подписка на 1 год - 60,- долларов, на полгода - 35,- долларов, на 3 месяца - 20,- долларов.

Подписку направлять по адресу:
2460 Sutter Street, San Francisco, Ca. 94115

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече» на Австралию



GATEWAY TRAVEL PTY LTD.

48 The Boulevard, Strathfield N.S.W. 2135 – Telephone: 745 3333

Просьба оформлять подписку на альманах «Вече» для Австралии через Генеральное Представительство, по указанному выше адресу.

Стоимость подписки на альманах «Вече» на 1 год:
40 австралийских \$

Цена отдельного экземпляра «Вече»
12 австралийских \$

В стоимость подписки включена
пересылка «Вече» воздушной почтой

В Генеральном Представительстве можно
заказывать отдельные номера «Вече»

Е. Вертлиб

Шукшин и русское духовное Возрождение

Шу́кша – льняная костра, то есть волокна, остающиеся после трепания и чесания льна. Это „очески льна“. Фамилии Шукшин нет в „Ономастиконе“ С. Б. Веселовского. В ней тайна тюркского звучания: *suksumug* – от санскритского *sūksmāilā* – растение кардамон, помогающее исцелению болезней от ветров. Ветер ненастья – уже в первом произведении Василия Шукшина – „Двое на телеге“ (1958). Шукша, по мнению черемисов, есть такое божество, которое неотлучно пребывает между людьми, примечая действия каждого человека, записывая его пороки и добродетели, и тотчас относя оные Богу... Так и Шукшин: на 46-м году своих земных дней „понес Богу“ правдивую картину нравственного состояния нынешней России.

Он „сам не хотел“ дольше жить после встречи с Шолоховым. Смерть настигла его во сне. И он чуял её. За день до того, Шукшин взял булавку, опустил её в баночку с красным гримом и стал чертить что-то на обратной стороне болгарских сигарет „Шипка“. Сидевший рядом друг его Бурков спросил: „Что ты рисуешь?“ — „Да вот видишь, — ответил Шукшин, показывая, — вот, горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны“. Разин „взял его к себе“. По некоторым сказаниям, этот мятежный образ,

олицетворяющий собой му́ку мирскую, должен явиться опять, когда увеличатся грехи и страдания людей. Он являлся Шукшину ночами, и Василий Макарович бросался навстречу гостю, со словами: „Я вас долго ждал, Степан Тимофеевич! Об-бождите и вы меня, б-батюшка. Ещё чуток обождите...“

„Я пришел дать вам волю“ – название кино-романа Шукшина. Эта усеченная фраза – из „Трех путешествий“ Я. Я. Стрейса: „За дело, братцы! Нынче отомстите тира-нам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление... будьте только мужественны и оставайтесь верны“.

Разиным Шукшин жил все отпущенные ему Богом дни. Его Степан горел одной страстью – „тряхнуть Москву“ и утвердить на Руси свободу мужику. Сколь ненавистны Разину страх и рабство, – столь же изначально прокляты они народом. „Мы с той поры, – пишет Шукшин, – крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель сыщется. И пусть он будет крепким...“ Раз зло во всеоружии, „пусть и добро вооружается!“ Уже в первом наброске „единственного поэтического лица нашей истории“, как сказал Пушкин о Разине, – Шукшин дает картину внеуспеваемой расправы над человеком: „Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана... Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Хрипели... Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам“. А кончается этот один из первых шукшинских рассказов словами: „По поселку ударили **третьи петухи**“. Финальная сказка-быль Шукшина так и называется: „До третьих петухов“. Почему?

Вспомним Евангелие от Матфея: о том, как Сына Человеческого положили взять хитростью и убить. Один из 12-ти учеников предаст Его – Иуда Искариот. Иисус веще предсказывает Апостолу Петру: „прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня“. Так оно и происходит. В третий раз, когда он начал клясться, что не знает

Сего Человека, вдруг запел петух. Над Христом глумились: дважды „плевали Ему в лицо и заушали Его; ударяли Его по ланитам...и...били Его по голове...“ Новое варварство истязает человека без свидетелей – уголовщина, страшнее Христовых времен. Распинанием совести – темой предательства – начинается творческий путь Шукшина и тем же, на другом витке спирали эволюции, кончается. В „Мастере и Маргарите“ Михаила Булгакова с третьим петухом изгоняется вампиризм, наваждение сталинского лжевоскресения на „великом бале сатаны“, – прогоняется нечистая сила, околдовавшая Россию. Шукшинский петух принес благую весть о Воскресении Руси.

Разинская тема – преступление и наказание – пронизывает всё шукшинское творчество, **беспериодное** по своей художественной природе. Она рельефно проступает в „Думах“, косвенно отражается в раздумьях над второй книгой „Любавины“: черты характера Макара Любавина и Разина – в Егоре Прокудине (кстати, фильм „Калина красная“ снимался под Белозерском, где в конце 60-х годов Шукшин выбирал натуру для своего фильма „Степан Разин“). Егор Прокудин как бы перенесен в XVII век и назван Стенькой Разиным. В третьей новелле фильма „Странные люди“ Шукшин вернулся к рассказу „Стенька Разин“. Множество фигур, вырезанных Васёкой в рассказе, Шукшин заменил **одной фигурой связанного** Степана. Слезы сменились грозным гневом. О Егоре Прокудине родители Любы Байкаловой – невесты его заочной – говорят: „Стенька Разин нашелся“ (метафора-намек на память о теме). Любимая песня Пашки Колокольниковца („Живет такой парень“) – „Из-за острова на стрежень“. Шукшинский Разин, как и Прокудин, втайне ищет смерти – под Симбирском, где, как известно, „родился обыкновенный мальчик Ленин“. Одно рождение отобрало право на жизнь вольную – другого.

„Сказка про Ивана-дурака“ („До третьих петухов“) кончается открытым призывом к восстанию: „А пошли на Волгу!... Чего сидеть?! Сарынь!...“ Со словом „сарынь“

раздался трубный глас петуха: „то ударили третьи“. Пусть эти библиотечные герои испугались пока даже не милиционера, как у Андрея Битова в „Пушкинском доме“, а метлы уборщицы. Петушившийся атаман-заводила оказался трусливым предателем идеи возмездия праведного, – шапку свою на полу не признал. Не такого ли „атамана“ – тоже „чурка“, но „потолще“, – Алеша Бесконвойный казнил: ставил на широкий пень и тюкал по голове?! На что уж Фрол – самый умный был есаул у Разина, а предал первым! Такого рода „оппозиция“, по Шукшину, – одна поза, суeta сует. Не об этом же и записка писателя, найденная после его смерти: „Нет, ребята, ‘могучей кучки’ не получилось. Жаль“?! Атаманова шапка так и остается пока неподнятой. Когда Шукшин дописывал про эту шапку, к одной из дверей на „Мосфильме“ прибавляли табличку: Съёмочная группа „Степан Разин“. В этом произведении отрекшиеся от атамана – за предательство поражены „слепотой“, они не видят воли вольных: „Я дал волю, – убежденно сказал Степан“. – „Как это?“ – „Дал волю...берите!“ – „Ты сам в цепях! Волю дал...“ – „Дал. Опять не поймешь?“ – „Не пойму...“ Людям была дана воля на свободу, свобода воли на избавление от гнета, но предатели атамановой воли предпочли остаться рабами. Так погорелая деревня Шукша мелькнула прощально в романе шукшинской жизни „Я пришел дать вам волю“. Так сам Шукшин оказался распятым на собственном кресте, который он нес по мукам несгибаемо.

У него счеты с властями свои. В 1933 году ОГПУ арестовало его отца, погибшего в лагерях. С детства Шукшин ненавидел тип безобразного „активиста“: „Ты людей раскулачивала... Ты же самая первая кулачка! Ты всю жизнь над людьми изгилялась. – Он вдруг с ужасом понял, что они бывают страшны“ („Мой зять украл машину дров“). В раннем рассказе „Мечты“ автобиографический герой задумал „тайно бороться“. Критик В. Коробов, комментируя этот момент в судьбе писателя, попытался всё спихнуть на „игру воображения“. Но Шукшин, как известно, не любил пустых мечтаний. То, что он поведал в „Мечтах“,

никакая не „самодетельность на клубной сцене“! Это первые проблески взрослеющего сознания, первые мысли о государстве. В „Штрихах к портрету“ конкретизируются эти первоначальные мысли о несправедливой социальности: человек задается вопросом, **почему** на него орут: „Мой разум не мог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе... Я оглядывался вокруг себя и думал: ‘Сколько всего наворочено’. Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве“.

Первым ценителем этих исповедальных „штрихов к портрету“ оказался начальник милиции. Он, как положено, арестовал шукшинский автопортрет на „прочтение дома“. В рассказе „Миль пардон, мадам!“ появляется угроза расправы над вольномыслием: „Ведь тебя... засудят когда-нибудь! За искажение истории...“ Уголовного кодекса тогда не знал Шукшин, и герой его ответил соответственно тому: „не имеют права, это не печатная работа“. И у „чудика“ та же фамилия борца с беззакониями в стране – Князев. Зовут его Василий Егорович. Имя – Шукшина. Отчество – земное: Егорий – покровитель земледелия, надежда труженика земли. Егора в „Калине красной“, в „малине“ окрестили Горем, даже имя хлебопашеское ликвидировали те, которые сродственники с „голубыми кантами“.

Шукшин грозит мафии: нет, я просто так вам мужика не отдам! И от слов переходит к делу, от потаенности до поры до времени – к открытому протесту во весь голос. „Всё время, – сказал Шукшин перед кончиной, – я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного“. И в одну из ночных бесед с актером Георгием Бурковым, писатель „пришел к выводу, что наступает в жизни творца такая минута, когда он просто обязан обозначиться во весь рост, ‘расшифроваться’, и сказать обо всем, что любит и ненавидит, прямее прямого и громче громкого, и не пугаться, и даже ждать их гордо – будущих нападков,

обвинений во всяких 'изма́х и кривотолков...". Шукшин, как видно, решился, говоря словами Солженицына, „головой легонько рвануть – петля ли порвется, шею ли сдушит“. Перед смертью пробил час для писателя отбросить немую борьбу за тайную свободу, покончить с проказой эстафетной подлости „вынужденных“ компромиссов, с благословением великой хитрости живого. Иными словами, Шукшин плюнул на клятву воздержания от правды, чем и является, по Солженицыну, соцреализм.

Местом Лобным воскрешения доблести мужа судьба избрала близость к шолоховской резиденции (дело было на Дону), временем – лето последнее шукшинское, когда снимался фильм по Шолохову „Они сражались за Родину“. В институте психиатрии имени Сербского писателю, вне сомнения, поставили бы за ночной разговор с другом тот же диагноз, как и в свое время аспиранту из Вильнюса Вацлаву Севрюку, – „мания марксизма и правдоискательства“. Печально, что критик израильский Владимир Соловьев дал психокарательное заглавие статье во «Времени и мы»: „Василий Шукшин: Мания правдоискательства“. Мания – это форма психоза душевнобольного. Прав Солженицын: вот так используют свободу некоторые эмигранты. Виктор Некрасов, приведший Шукшина в «Новый мир», не находит в коллеге „ни единой фальшивой ноты, ни единой“. Шукшин, как и Твардовский, не имея свободы сказать полной правды, „оставлялся, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра, – как говорит Солженицын, – не переступил, нигде“.

Шукшинский дипломный фильм во ВГИКе „Из Лебяжьего сообщают“, где пусть и „ненаказуемая“, но крамольная фраза – „в никакой коммунизм вообще я не верю“ – так и не вышел на экраны. Важно, что в фильме этом участвует артист Леонид Куравлев (роль Саньки) – эквивалент Пашки Колокольникова, идеи „стихийного образа жизни“. В тоталитарных условиях возник характер человека-недогматика, порывистой разумной души. Как и антигерой „Записок из подполья“, шукшинский персонаж

отверг обывательскую пользу, „норму поведения“, и ведет себя алогично в глазах мещан. Только не злоба в нем, в отличие от создания Достоевского, а наоборот: доброту людям развозит он на своем „газике“. Новый Иванушка-дурачок, „пирамидон проклятый“, пародирует глупость глупого мира, советских „глуповцев“. Попутно, как заметил Лев Аннинский, Шукшин переворачивает классику. Например, сватовство, брак по-чужому, родительскому расчету. В классическом варианте „живое чувство“ должно „взбунтоваться“ против такого насилия! Так было в классике. Но Шукшин ставит вопрос наоборот: а что, если **живое** чувство **совпадает** с этим искусственным сватовством, что ж, и ему бунтовать „по традиции“?

Так в перевернутом мире фальшивых купонов душевность надела на себя личину придуривания, чтобы поставить все на свои места. За „Такого парня“ – „идейную неразбериху“ некая Л. Крячко, „октябристка“, Шукшина окрестила чуть ли не мракобесом („Ведь даже лучшие учителя дореволюционного земства пропагандировали среди своих учеников какие-то демократические, социальные идеалы“, а тут „вселенская любовь, всеобщее милосердие и доброта...“), а с другой стороны – фильм с Колокольниковым премирован „Золотым Львом святого Марка“ на 16-м Международном кинофестивале в Венеции. Вот вам и „свой среди своих“.

Диплом кинематографиста достался ему дорого. Он дрался с милицией, „плясал и плакал, плакал и плясал“ за „справочку“, как его Иван из сказки „До третьих петухов“. После института он пять лет боролся за московскую прописку и обитал в столице на положении полулегальном. К нему, как таланту от „земли“, кинулись мракобесы, чтобы привязать к своей колеснице. Софронов поселил его у себя, у своей дебилой дочери, разведя её с прежним мужем. Каково ему было печататься в «Новом мире» у Твардовского, а домой ехать к Софронову. Жизнь подтачивала его в спину – к шолоховым и софроновым. Сердце же рвалось к правде. Потом уже – под повесть для «Октября» – Кочетов устроил ему прописку в Москве. На

окраине Москвы, в Свиблово, до рассветной пасмури, работал Шукшин. Утешением было то, что „за окном лежал живописный пустырь“ („Там, вдали“). Незадолго до смерти ему дали четырехкомнатную квартиру на улице Бочкова в Москве, хотя он уже ничего не хотел и уклонялся от этой „подачки“.

На Шукшина очень сильно повлияло время торжества „Одного дня Ивана Денисовича“ и „Матрениного двора“. Его герои саморасконвоировались. Алеша Бесконвойный захватил от государства свое законное право на отдых. В „Кляuze“ вознесся вопрос: „Что с нами происходит?“ Доколе терпеть издевательства, как сам больной Шукшин испытал на себе в вестибюле московской клиники пропедевтики на Погодинской улице? И после всех безобразий распоясавшегося хама, врачи этой больницы еще обвинили писателя в том, что он их „оболгал“! Невозможно жить, когда душу постоянно отравляют дерьмом. Это прямо конец света! „Я вдруг почувствовал, – пишет Шукшин, – что всё, конец...“ „Кляуза“ – вопль обнаженного сердца – появилась в «Литературной газете» 4 сентября 1974 года, а второго октября в станице Клетской Волгоградской области, Василий Шукшин скончался.

В шукшинский огород летели и летят камни со всех сторон. Сплетнями и легендами обрастает его имя. То его тычут антисемитизмом, то толкают в объятия КГБ, то втискивают в крепостнические границы деревни-матушки и делают из него городское пугало, то просто отказывают ему в таланте, считая славу его всенародную – политической спекуляцией...

Прорыв в культуре, начатый осенью 1953 года статьей Ильи Эренбурга „О работе писателя“, подхватил сибиряк Владимир Померанцев, опубликовавший очерк „Об искренности в литературе“, – за что поплатился Твардовский своим постом в «Новом мире». Но и после появления „Одного дня Ивана Денисовича“ и провозглашения конца прежней рептильной литературе (16 ноября 1966 года – дата обсуждения первой части „Ракового корпуса“ в ЦДЛ), в 1968 году Шукшин „допускает“, что „общество

живет в лихое безвременье“. Для ликвидации жандармских последствий сталинщины писатель предлагает двухэтапный выход страны из устойчивого безвременья. „И вот, – пишет он, – в такое тяжкое для народа и его передовых людей время, появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый“ (первый этап: под звездой Пашки Колокольниковца). Потом уже появятся „другие герои – способные действовать“.

Параллельно со светлодушевым путем противостояния лжи и ханжеству писателем предусматривается потенция людей несломленных, несущих волком в зубах свою волю к свободе. Деяния таких персонажей обычно упираются в „участок“ – место встречи себя и государства. Их явно преследует неудача: один – за прорыв к своему заветному празднику – награждается новым тюремным сроком; другой убивает себя сам при помехе осуществить сполна свою волю; третий – может-не может переступить через самого себя, как Родион Раскольников, и сам ищет своей смерти, чтобы прекратить изматывающие колебания „между собакой и волком“.

На пути индивидуального самоутверждения героя писателем экспериментально не исключается и кровь „по праву“ идейной необходимости: „исключительное право души, способной жить целенаправленно“. Через труп – когда всё испробованное не принесло желанного результата (ср. с „Днем открытых убийств“). Это – теоретически допустимая разрядка „квинтэссенции души“ на вершине „мучительного поиска смысла и назначения бытия“. За этим волевым актом кончается гуманизм как таковой; с омертвлением совести самоликвидируется сама идея: высокое предстает мелко-бесовской пошлостью, серой обывательской чертовщиной. Крайний верх „равен“ крайнему низу. Это уже не борец, а подлец, подобий которого везде навалом, как убогой злой мелкотравчатости в обыденной жизни. Вспомним: и разбойники, распятые с Христом, поносили Его, „социально чужие“. Эта „раскольникова проба“ по-христиански несостоятельна, как известно. А если так, то может ли человек вообще жить

без людей (задумка продолжения “Любавиных”)? Вычеркнуть себя из социума – в тайгу звериную удалиться, например? Ведь добровольное заточение гораздо тяжелее принудительного. Это мы знаем еще от Чехова: герой его просидел-не просидел на спор 15 лет (за пять часов до установленного срока „вышел сам“, нарушив пари). Это теоретическое допущение Шукшиным не реализовано, как и Мандельштамом, в свое время задумывавшимся над планетой без людей. Шукшинский же „бесконвойный“ – только двухдневник внесоциальный, и то „при людях,, (семья рядом), хотя и с понятием, что людей труднее любить, чем огонь, степь, детей.

Значит, в качестве рабочей схемы примем: первый путь – от Пашки Колокольниковца до „чудящих“ противленцев. Где-то к весне 1973 года, как свидетельствует артист Леонид Куравлев, сам Шукшин был готов убить своего Пашку – драматизм обстоятельств заставил прекраснодушие вооружиться. Прокудин в этом смысле – связующее звено между „первым“ и „вторым“ типами-путями к светлому добру: на дне души он „наивный добряк“.

Второй путь – любавинско-прокудинский: идея заостряется до криминальной вседозволенности или самоубийства со злости (когда „чаю не дают напиться вволю“, говоря словами Достоевского) на мир „сытых“ и на свои слабости „слишком человеческого“ свойства. Отголоски нищезанятия, русское суперменство – рьяное „западное“ волевое, головное, мертвоточечное начало: цель оправдывает средства, поэтому все средства хороши для достижения цели (пушкинский Герман, Раскольников, – картой, топором ли – чем угодно, только к цели, „неподвижной“). Когда цель эта головная наталкивается на непреодолимые препятствия, она деформироваться может, стать самодвижущейся мишенью, и как следствие этого – перекося фокуса, абберация, тогда носитель идеи таковой может принять за неё совсем не то, но жить стремлением к её реализации (о подмене, обмане герой не догадывается) столь же неистово, как и раньше; если же герой „сразу опомнится“ – подравнивает топором же

заветную стезю, просеку межлюдскую, „межукладную“, „между двух берегов“, между молотом и наковальней, между Добром и Злом. Шукшин и исследует это психологическое, экзистенциальное состояние между двумя крайностями. В этом его русский максимализм, отвергающий полумеры и теорию прошлой классики, – „малых дел“.

Коли жизнь „вообще без людей“ вряд ли возможна, а на подвиг-любовь к мерзкому ближнему не способен, то что же остается герою? – Самоубиться или попробовать „стать человеком“ – оставаться „гордым“ до конца или смирить гордыню честным компромиссом с „объективным злом“? У Шукшина герой предпочитает оставаться самим собой, демонстрируя по-шопенгауэровски „неизменность характера“, полное неприятие по большому счету компромисса между добром и злом. В мелочах – да, в принципе – нет. „Моральный кодекс строителя коммунизма“, без христианских активных добродетелей в нем, для писателя просто не существовал: „Не представляю, – писал он, – себе коммунизма без добрых людей, не верю в такой коммунизм и не хочу такого“.

Вместе с тем Шукшин избежал односложного морализаторского ответа, он просто предельно сблизил эти две концепции человека, два противоположных пути – „к людям“ и „полного отчуждения“ – и не развел их восояси. Не поэтому ли и гадают над судьбой Егора Прокудина: „перевоспитался“ ли он в лагерях или так и не дошел до Человека, „заело“ на пути? В этой болевой точке расщепленного сознания сошлись две проекции: светло-душевного мира и костоломно-любовинского. Бог и дьявол, только не усредненный вариант судьбы. Хотя диалектически крайности „совместимы“, как свет и тьма (сумрак, рассвет), деревня и город (пригород), добро и зло, но там, где „детская слезинка“ или зло намерено восторжествовать, – позиция авторского „я“, особенно к концу жизни писателя, была непреклонной: зло, как и в традиции русской деревни, душилось в зародыше, на миру, самими персонажами, – осмеянием порока или даже

жестокой физической расправой. „Диктатура“ добра в смертельных исходах необходима, а в ординарных – кто кого одолеет (сердце рвется к объективной справедливости, но язык „от автора“ не мешает персонажам выявлять себя до конца). Единовременное присутствие крайностей в человеке позволяет говорить о „неединстве противоположностей“ в шукшинском герое.

По линии „душе разгуляться“, Спирька („Сураз“), как и Раскольников, – и преступник и жертва, в одном лице, „самоубийцы“ они с Егором Прокудиным. А Степан Разин шукшинский – „идеология“ серьезная, всерусская; это уже не „самодеятельность“ души, с правом „почесываться“ когда угодно, а синтез черт всех героев и истории русской, со всеми её перегибами, образующий облик народного бунтаря. В этот третий путь-судьбу вливаются все шукшинские „штрихи“, „наброски“, „пробы“, ручейками слиянными образуя вольное русло свободной реки. Добро и зло в нём – в сложнейшей концентрации. В романе „Я пришел дать вам волю“ сказано: „Где есть одна крайность – немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и жертве, – там обязательно есть другая – прямо противоположная...“ Все крайности сбежались в Разине, что вовсе не отвергает наличия у других шукшинских героев **своих** путей-дорожек, индивидуальных судеб.

Итак, Разин, „обменявшись рукопожатием“ с Прокудиным, пошел, как в сказке, походом на Москву – понес, как оказалось, буйную свою голову на плаху золотоглавную. Пойдешь прямо – голову потеряешь (шапка атamana в библиотеке – символ её), или свободу обретешь (волю люди не узрели, свободы не получилось). Реставрировать казацко-крестьянский уклад в СССР Шукшину не удалось.

Пашкинская дорожка – христообразная в идеале. На ней тумачи, но и стремительные нечаянные радости. Здесь, в целом, деяния по совести, даже если быть счастливым (ср. с „Мы“ Замятина) „принуждают“, при этом разрушая заведенный порядок вещей. Глас „чудика“ –

апостольско-солженицынский, прокудинский: „Люди! Давайте любить друг друга!“

Противостоит ему, или диалектически „совмещается“ с ним формула другой конечности – без креста, надсадно-отпетая, кроваво-дерзкая одержимость „заглянуть в пропасть“. В реальности – это когда нервы сдают, а руки никак не опускаются. Бесноватый порох, психо-беспредел воли головной. Крестный путь и антихристский могут сойтись, даже одновременно сосуществовать в двойнической форме проявления одного характера, чаще – взаимоисключать друг друга (из амбивалентного чувства притяжения-отталкивания), сходиться и расходиться на исходные рубежи. Этот двойственный по своей природе тип довольно неустойчив в экзистенциальном смысле. При разводе полном „половин“ – враги („брат мой – враг мой“). При неполном, что бывает чаще, – „смесь красот и безобразий“.

Таковы пути измерения судьбами-характерами „шукшинской жизни“ – творческой „эволюции“, которой, кажется, вовсе нет: он явился и вывалил, как сказал Анненский, сразу всё из принесенного с собой „мешка“. В разные жизненно-творческие „периоды“ Шукшина возникали только новые силовые линии симпатий внутри неизменных типологических структур. Сам писатель, подводя итоги жизни, сказал: „Написал две-три книжицы и сделал два фильма – „Печки-лавочки“ и „Калину красную“. Остальное сделано просто для овладения мастерством, для самого существования“. „Две-три книжицы“, по моему, и есть судьба найденных Шукшиным двух-трех (если „прокудинский“ путь считать слиянным с „пашкиным“, то – два; если нет – три) типов человеческих, которые в линейном измерении сравнимы с „эволюцией“ писателя из „мешка-пучка“, сразу принесенного с собой всего добра, – в три стороны света-несусвета: Небесный, Подземный и Земной – Пашка, Любавин, Разин. И к ним же – „картинки“, картины: „Печки-лавочки“ – к Пашке – „анекдоту ходячему“ (не дают быть наивным, за искренность сажают даже), „Калина красная“ – к Прокудину

(„Между собакой и волком“ – в пушкинско-соколовском контексте). Отсутствующее звено – вне сомнения – относится к Степану Разину, осуществление замысла поставить фильм о котором оборвалось со смертью автора.

Свой творческий путь Шукшин, как и Пушкин, например, мыслил в этических категориях. Биографические обстоятельства – „вторичны“, лишь как условное обозначение тех внутренних изменений, которые перетерпевала его проза. И. Киреевский по „характеру поэзии“, „различному воззрению поэта на вещи“, уловил возможность „определить особенности и содержание“ каждого пушкинского периода творчества. С Шукшиным это не получается: его творчество „об одном и том же“, стержень однажды обретенный, то раздается, то сжимается – и „раньше“, и „позже“. Нет у него дат ни под одним рассказом. „Бесы“, например, появляются уже в одном из первых рассказов – „Гоголь и Райка“ („на печке никакая нечистая сила не страшна... Покрутятся до первых петухов и исчезнут“), и не исчезают из шукшинского творчества до последних страниц, „до третьих петухов“. Витки спирали – иногда „ниже прежних“ – тоже плохой ориентир в установлении границ „этапов“ пути писателя.

Только очень условно можно применить к Шукшину пушкинскую поэтапность, предложенную Киреевским: сначала был „исключительно поэтом“ („светлые души“ Шукшина), потом – „поэт-философ“ („стремление к самобытному роду поэзии“ – у обоих) и в конце, к концу жизни: у Пушкина – „способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте“, у Шукшина – обнажение себя во весь голос и в полный рост таланта. Оба в „третьем периоде“ способны возвыситься до создания национально-самобытных произведений.

Хотя разрезать на „периоды“ цельное творчество Шукшина, повторяю, нельзя: их или „вообще нет“, или он весь – „средний период“, без начала и конца („переходные формы“, свойственные „серединности“, есть и в начале и в конце его пути), но условно все же можно говорить о его творческих „этапах“, соответствующих

росту мастерства и приходу-уходу тех или иных социальных моментов. В таком случае, **ранний** Шукшин – это сентиментально-суровый правдоискатель: спокойная сила, терпение от опыта прочности и устойчивости. Это годы не ученичества, а вызревания мастерства, инкубационный период зрелости: 1958-1962; (появление „Одного дня Ивана Денисовича“) – 1964 – от „Двоих на телеге“ до „Критиков“. Появление характера судьбоносного – 1960. И второй „этап“ – Шукшин „настоящий“, как говорят: 1964-1974. В эти годы он встал на сторону „кругом неправого“ („Живет такой парень“). Изжил придуманную за него другими проблему „село-город“ (когда „очкарик“ спас сельского парня; разные люди бывают и там, и там). Появились не социальные, а скорее психолого-характерологические полюса: тихий „чудик“ и „заводной мужик“, бандит и человек, Оптимист и Пессимист. Мысли о России – синтезе. Разин. От „Критиков“ до „Кляузы“. Уже обе ноги „на берегу“ (а то – одна „в лодке“ была) твердой нравственной безотносительности. Но и „бесы“ увязались. В результате – сознание „распятости“ триединым ремеслом, призванным способствовать преобразованию мира; разрыв сердца – света конец после мифологически-притчевого „похода на Москву“. Публицистика ворвалась открытым текстом в прозу. Фантастический **трактат** о русском национальном характере – „До третьих петухов“.

В СССР Шукшина творения хотят „подравнять“, вкрутить его слову недостающий идеологический смысл, втянуть его в партийную иерархию „ценностей“ чуждых. С этой целью при переиздании его вещей изымаются целые фразы, абзацы, даже страницы текста, пытаюсь свести совестливую, до страдания болевую прозу Шукшина, её точно адресованный социальный протест – к безобидному мужичьему балагурству и хмельному куражу. Остросоциальное лишается глубины, сверкая поверхностью. «Надо, – писал Шукшин, – уважать запятую. Союз 'и' умалывает то, что следует за ним. Читатель привык, что 'и' только слегка усиливает то, что ему известно до союза. О запятую он спотыкается... и готов воспринимать даль-

нейшее с новым вниманием. 'Было пасмурно и неуютно', 'Было пасмурно, неуютно'».

Некий советский критик Д. Дубровин вбивает осинный кол в синтаксис Шукшина: „Иные теперь готовы забальзамировать с причитаниями чуть ли не каждую его запятую“. С мертвым писателем им легче расправиться, издеваясь над его творениями. Конечно, ряд проблем при переиздании понятен, ибо связан с отсутствием у писателя унифицированной пунктуации, нетипичным расположением текста, различным графическим написанием слов, множеством опечаток. Очень непросто, взвесив все „за“ и „против“, добраться до канонического, дефинитивного текста. Но это вовсе не повод сознательно исказить дух буквы – глумиться над прахом писателя, „помогая“ ему, при жизни отвергшему, теперь затыкать собой прорехи соцреализма.

Роль Шукшина, после Солженицына, – связать „деревенщиков“ с „литературой ГУЛАГа“, чем и созданы предпосылки, в результате синтеза лучшего, для возникновения **новой классики**, которая прошла уже свой период „бури и натиска“ и вышла на мировые магистрали, под гнетом и не без потерь. Наш „шукша-черемис“ заострил свое внимание на экзистенциальном состоянии человека – между полюсами Добра и Зла, между старым и новым укладами жизни, между вечным и временным. Как „Слово о полку Игореве“ – культурное пограничье между Русью и Половецкой степью (А. Н. Робинсон, Олжас Сулейманов, Д. С. Лихачев такого мнения), так и „Один день Ивана Денисовича“ – Рубикон, межа для новой русской истории, которую открыл Солженицын и утвердил в литературе Шукшин. Об этом только догадывались.

23 августа 1973 года А. И. Солженицын в интервью агентству «Ассошиэтед Пресс» и газете «Монд» назвал 14 писателей, составляющих „ядро современной русской прозы“. И Шукшин – среди них, пятый. В июне 1974-го Шукшин „из живых“ писателей значится в списке Солженицына третьим (перед ним только Твардовский и Залыгин). После Шукшина – Б. Можаяев, В. Тендряков, В. Белов

да В. Солоухин. Еще Юрий Казаков отмечен, но с оговорками: „И какой же сильный и добротный был бы, если бы не прятался от главной правды“. Шукшин – этот честнейший, словно „без кожи“ человек – не прятался от правды. Шукшин открыто не согласился с официальной ложью, что „только при Сталине“ было плохо: „Было плохо, стало хорошо? Это же не так...“

В адрес Шукшина и „деревенщиков“ вообще – летят булыжники ненависти с трех сторон: партаппарата, бывших „самиздатчиков“ и „научных“ еретиков. Государство тщетно силится „повыломать волчьи клыки“ Правде. За „Третью правду“ сидит Леонид Бородин. Но каратели-смердяковы – не тип, а антипод русского. Вызывает беспокойство, что даже такие, как Андрей Синявский, не понимают или не хотят понять происходящего в России. Так, он пишет: „Открестившись от лжи, мы не имеем права впадать в соблазн правды, которая снова всех нас поведет к социалистическому реализму навыворот“. Чтобы напугать перспективой „реализма“, критик спекулятивно сближает это понятие с „коммунизмом“, синонимизирует их и предлагает выбросить эту „парочку“ на свалку: второй компонент – ясно без слов, а первый – „реализм“ – на всякий случай, кабы чего не вышло. Вместо „реализма-коммунизма“ – некое абстрактное, нечто удивительное, экзотическое. Напрасно Мандельштам надеялся, что „убогое ничевочество“ не повторится в русской культуре. Не к нему ли взывает Синявский?! Правда не может быть „за скобками“ жизни, вместе с „наказанным“ реализмом.

Достоевский на пути русской культуры к правде хотел одного: „Пусть только не будет недоброжелательных выводов и вот все, что покамест нужно“; „в этих взглядах наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история“. „Под моими подошвами всю мою жизнь – земля отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу“, – сказал Солженицын в 1967 году. Поразился и порадовался писатель в изгнании расцвету „именно на главном стержне русской культуры“ – „это труднейшее направле-

ние наших классиков“. Солженицын не оговорился, характеризуя новую литературу как „классическое“ направление. В его фразе: „впервые крестьяне пишут о себе сами“, ожил Толстой, восхищавшийся вещью труженика Т. М. Бондарева („Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство“), пораженный правдой в образах Николая Успенского, или другим – С. Семеновым – без „вычуров и цветистости“, в вершинном проявлении, граничившим с бунинским золотописью.

Для Солженицына, как и Шукшина, классика – „не икона“. Он за прозу, „грубо говоря, антипозднебунинскую“, замятинско-цветаевский густой синтаксис. Радость Солженицына за успехи крестьянской прозы омрачил Синявский, сравнивший „версию“ выдвинутую – с „теорией пролеткульта“. Парируя тезис Солженицына, критик не упомянул даже о первой по сути дела крестьянской книге о крестьянах: Ф. Н. Слепушина – „Досуги сельского жителя“ (1826 г.; 1828 г. – переиздание). И Достоевский солженицынского мнения: он признавал заслуги Островского, Тургенева, Писемского и Толстого – первопроходцев, однако считал, что и „они все вместе взятые взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно“.

„Деревенщики“ унаследовали от „старомужицкой“ литературы гордое достоинство: не разделять государственных „черносотенных“ затей (а Гр. Свирский упрекает именно в этом Шукшина). **Бес – примесный реализм** „горе-ведов земли“, их доскональное знание народной цивилизации, всего её лада позволил им занять свою устойчивую позицию в ссорах 10-х годов и не поддаться влиянию либеральных, черносотенных или каких-либо иных „готовых“ концепций своего времени. Об этом, кажется, забыли Синявский и Александр Янов, видящие в русском Возрождении угрозу свободе. Крестьянский стоицизм на мякине не проведешь. Их „политика неприсоединения“ не позволила молодому Подъячеву примкнуть даже к толстовству. Если даже толстовское учение стесняло их „свой путь“, то что говорить о советских догмах?!

В поисках критерия подлинности критик Юрий Мальцев лучших русских писателей окрестил „промежуточной литературой“, дескать это – „разрешенная полуправда“. Чем не образчик вульгарного социологизма 30-х годов, когда лучших писателей земли русской обзывали профессора Волковы – „поэтами русского империализма“! М. Назаров „усовершенствует“ мальцевскую формулировку: литературу меж официальной и диссидентской – называет „литературой частичной правды“.

Есть **литература** (полной правды), а всё остальное, как сказал В. Распутин, – **чтиво**. „Половинчатость“ же относится к нетерпимой в искусстве политике. Мария Шнеерсон и Юлия Вишневская заступились за „деревенщиков“: „Дело в общей концепции, и не одного какого-то рассказа, а всего творчества“ (сказано первой в защиту Шукшина, который очень кстати поставил ребром вопрос: „Что с нами происходит?“) По Елене Клепиковой получается, что Солженицын – „точка зрения куда более тенденциозная, иллюстративная и примитивная“, а вот Федору Абрамову „реальность важнее тенденции и позиции“. Стоит ли внутри общего порыва к Свету наводить порочащие тени?! Абрамов хорош по-своему. К чему мелочные подсчеты, тем более злобные и неверные?

Термин же „промежуточная литература“ – не „уже появился“, как почему-то считает Синявский, а всплыл – из двух сборных прошлых моментов. Современный Юрию Тынянову период советской литературы он назвал „промежутком“, в котором перестала ощущаться инерция предыдущего периода литературы, происходит подспудное накопление художественных открытий (Тынянов, кстати, был дорог Шукшину). То бишь имелся в виду несомненно положительный фактор переходного периода, а не отрицательный.

И второй источник, тоже по Мальцеву, минусовый: вырван им огрызок из Мандельштама, в момент болезненного срыва поэта: „Какой я к чорту писатель! Пошли вон, дураки!“ Мандельштам вышел из себя и сорвался, к сожалению, вовсе не на том – на А. Г. Горнфельде –

умном и честном ученике Потебни. И в этот миг ярости благородной (его судили за „плагиат“!), он „дошел до того“, что все произведения мировой литературы стал делить „на разрешенные и написанные без разрешения. Первые, – сказал он, – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове...”

Но при чем здесь „деревенщики“?! Да и, во-первых, „всю мировую литературу“ не „посадить за стол в Доме Герцена“, – тесновато; во-вторых, „мировая“ не укладывается в понятие „разрешенная“; в-третьих, речь вообще не шла о „промежуточной литературе“, а о „мировой“, чем в целом не является пока „деревенская проза“; в-четвертых, Синявский знал, что Мальцевым использован его же эпиграф к статье в первом номере «Континента» – „Литературный процесс в России“, но вида не подал, развивая нездоровый пафос – лишь бы в пику Солженицыну, слегка журуя своего сторонника за уж слишком вульгаризированный подход к оценке искусства.

Надежду русскую никому не столкнуть в „промежуток“ – пропасть. Полумерки – подростковая одёжка, а онтологическая проза „деревенщиков“ (название нелепое, но оставляю, чтобы не путаться) – составная часть явления общего духовного Возрождения-выздоровления народов СССР и Восточной Европы. Кстати, Мальцев в своем определении „промежуточная литература“ само понятие „промежуточности“ момента в культуре берет от „некоторых западных критиков“, по мнению которых, „существует третья русская культура“ – „промежуточная, нейтральная“. Он попытался сделать из „нейтральной“ сплошной минус.

Сама схема развития русской литературы, по образцу французской, безбожно устарела: ни один из талантов XVIII века, например, не укладывается в рамки направления „прописки“. Время от Феофана Прокоповича до Пушкина следует считать переходным от средневековой к новой литературе. Этот „переходный“ период – первый

литературный Ренессанс, длившийся до первой трети XIX века. И начавшемуся Классицизму наших дней предшествовала эпоха послесталинского Возрождения, которая и создала предпосылки для новой Классики, о которой говорит Солженицын. „Ренессансоцентрическую“ систему истории новой литературы, кажется, успешно разрабатывает в России В. В. Кожин. „Деревенщики“, таким образом, это „стародавний“ Ренессанс на новом витке исторической обусловленности. Это – Царство Человека и Правды, возрожденное духом времени, которое неподвластно советскому календарю.

Возникновение нашего мира не есть следствие случайного взаимодействия физических и химических сил природы, а результат проявления исключительной творческой гениальности.

Размышления на эту тему изложены в брошюре

А. К. ТРОИЦКОГО

„О логическом пути познания первопричины бытия“

Цена брошюры 10 немецких марок

Заказы направлять по адресу:

**„Possev“-Verlag,
Flurscheideweg 15,
D—6230 Frankfurt/Main, 80**

К 125-ЛЕТИЮ А. П. ЧЕХОВА

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „ЧЕХОВГРАД“

1. Э. Бройде. – ЧЕХОВ. О христианских традициях, противостоящих марксизму. ФРГ, 1980. – 15 НМ.
2. К ПРОБЛЕМАТИКЕ ЧЕХОВСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ (того же автора). Классика, современность. 6 НМ.
3. Д. А. Антонов. – ЧЕХОВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. Повесть о российской интеллигенции, составшей против революционных догм... Персонажи эти встречаются и в последующих повестях Д. А. Антонова:
4. ВОССТАНИЕ. О русском Возрождении и польской „Солидарности“.
5. ЗАПАДНЯ. Повесть о жертвах „соц-патриотизма“ (СССР – Израиль).
6. БЕДНЫЕ ЛЮДИ. Культура и партийщина.
7. ВОЛЯ. 1984. Повесть о военной разведке и „Окаянных днях“...
8. 1988. „Дракон“ и 1000-летие Крещения Руси. „Батум“ Булгакова, Цветаевой... Л. Бородин.
9. Готовится к печати заключительная повесть Д. А. Антонова: ДЕНЬ ПОБЕДЫ... 1985.

Заказы – во всех магазинах русской книги.

Аннотации – в каталогах Нейманиса

К ЧЕХОВСКОМУ ЮБИЛЕЮ
цена каждой повести – 10 НМ

Л. Келер

Священная печаль

Когда говорят о русских поэтессах XX-го века, обычно имеют в виду Анну Ахматову и Марину Цветаеву. Мало кто знает Марию Михайловну Шкапскую и, хотя она никак не может соперничать с двумя выше названными, её стихи – ценный вклад в русскую женскую поэзию.

Интересна и её биография; мы знаем о трагической судьбе Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, но и доля Шкапской не легче. Мария Михайловна Шкапская (ур. Андреевская) родилась в Санкт-Петербурге в 1891 году. Окончила гимназию (на Васильевском острове), типично либеральную гимназию того времени. Дальше последовало своего рода „хождение в народ“: два года (1909 – 1911) она проводит в Псковской губернии, участвуя в работе промышленно-научной экспедиции по изучению Псковского водоема. Тут же она, по-видимому, встретила своего будущего мужа и вышла за него замуж. И она, и муж были членами какого-то (тоже, видимо, либерального) кружка в Пскове.

Стихи Шкапская начала писать рано, уже в гимназические годы. В Пскове же появилось в печати (в местной газете «Псковская жизнь») её первое стихотворение, на смерть Льва Толстого – „Плачьте“.

В 1911 году она снова в Петербурге, где поступает на медицинский факультет (психоневрологический институт). Либеральные веяния приводят молодую женщину на демонстрацию на площади Казанского собора в 1912 году. Тут её задержала полиция. Дальше начинается очень оригинальная, чисто русская история. Теперь это может показаться невероятным: Шкапскую высылают – за границу; московский меценат, купец Шахов, предоставляет ей (как и некоторым другим) стипендию для продолжения образования там. Таким образом Шкапская провела три следующих года во Франции, занимаясь языками. Но в 1914 году, в связи с началом Мировой войны, прекращается денежная поддержка из России. В 1916 году Шкапская возвращается в Петербург. До этого, еще во Франции, она познакомилась с В. Г. Короленко, который принял в ней участие и, в частности, послал несколько её стихотворений в петербургские журналы «Северные записки» и «Вестник Европы», где они и появились.

По возвращении на родину, Шкапская начинает сотрудничать в газете Н. Р. Кугеля «День». Советские источники подчеркивают активность меньшевиков, сотрудничавших в этом издании. О Шкапской же говорится, что три года заграничной жизни оторвали её от „нового революционного мировоззрения“, якобы формировавшегося в то время на родине.¹⁾

Расцвет поэтического творчества Шкапской падает на первую половину 20-х годов, когда подряд выходят несколько сборников её стихов. Первый сборник, замечательно названный „*Mater Dolorosa*“, появился в 1920 году. За ним последовали в течение ближайших лет: „Барабан Строгого Господина“ (Берлин, 1922 г.), „Час вечерний“ (Петроград, 1922), где были собраны стихотворения 1913-1917 гг., „Кровь-руда“ (Берлин „Эпоха“, 1922), поэма „Явь“ (Издательство „Круг“, Москва-Петроград, 1923), „Земные

ремесла“ (Москва, 1923), „Книга о лукавом сеятеле“ (1923), „Ца-ца-ца“ (Берлин, 1923).

К середине 20-х годов стихи Шкапской исчезли из печати. Возможно, она и дальше их писала, но в печати они не появлялись. К этому времени цензурная петля стала туже затягиваться на шее обреченной русской литературы. Шкапская переходит на журнальную работу, становится „мастером очерка“; она выпускает несколько книг своих очерков. И вот, единственное, что было переиздано уже после смерти поэтессы (она умерла в 1952 году), это сборник очерков. М.Горький, тоже принимавший участие в Шкапской, направил её творчество в совсем другое русло: по его инициативе было затеяно издание истории фабрик и заводов, и Шкапская работала над книгой „Лес-снеровцы“ (по имени завода Лесснера). Пять лет (1931 – 1936) она отдала этой книге. Книга не была напечатана (вторая часть сборника очерков содержит отдельные главы книги). Почему? Советские источники глухо упоминают о ликвидации издательства «История фабрик и заводов». Но если вспомнить, **какие** это были годы (вторая половина 30-х), то понятно, почему рукопись оказался в архиве. Даже работа над такой, казалось бы вполне созвучной, темой пришлось не ко двору.

После неудачи с книгой, Шкапская снова вернулась к очеркам, продолжая писать их и в годы Второй мировой войны. Но не очерки составляют её славу, а то короткое пятилетие, когда она вдохновлялась и горела чисто „женскими“ темами, выразительницей которых она бесспорно в то время являлась. Книги её стихов давно стали библиографической редкостью, но на родине их так и не удосужились издать, хотя бы выборочно.

Самое трагическое, что и печатание очерков было куплено ценой унижений, ценою покаяния. В предисловии к сборнику „Пути и поиски“ она признается в том, что, как член „либеральной интеллигенции“, она в прежние времена гордилась своей „объективностью“. Это относится, в первую голову, к периоду гражданской войны: „Вот, дескать, белые и красные сражаются, а мы

стоим где-то над ними и наблюдаем. Вот какие мы объективные и беспристрастные – летописцы Несторы“. Объясняется эта объективность, эта неспособность сразу во всем разобраться и принять революцию – отсутствием „классового зрения“, „классовым невежеством“. Шкапская признается, что „все существо было тогда в плену у старого мира“. Последнее унижение – утверждение, что стихи „были бегством в лирику от современности“.²⁾

В письме к М. Горькому (1934г.), Шкапская писала: „Я уже давно перестала писать стихи“.³⁾

*

Конечно, диапазон поэзии Шкапской значительно уже Ахматовой или Цветаевой. Он ограничивается, по большей части, специфически женскими темами: дети, материнство, положение женщины в современном мире и т.п. Ахматова тоже начинала с „женской“ темы (и эта тема звучала у неё совсем по другому), но со временем она вышла на столбовую дорогу русской поэзии, хотя и сохранила, может быть, чисто-женскую точку зрения.

Многое в поэзии Шкапской сугубо личное; но, хотя она зачастую и передает свой личный опыт, она пишет о женщине вообще. Большинство её стихов читаются, как сквозной лирический дневник, как комментарии к событиям дня, её дня, её времени. Начало 20-х годов, наша собственная культурная революция, о которой теперь предпочитают не говорить, время пресловутого „раскрепощения“ женщины от векового рабства и гнета феодального строя. Да, освободили, но так ли уж она желанна, эта свобода? А развал семьи, а легкость развода, алименты, работа женщины вне дома, работа по дому, по хозяйству – все это ударило в первую голову по раскрепощенной женщине.

Тема материнства, одна из главных в творчестве поэтессы, возникает уже в первом сборнике „Mater Dolorosa“. Но не только тема счастливого материнства, но и тема незавершенного, недостигнутого материнства.

Неживое мое дитя
В колыбель мы тебя не клали
Не ласкали ночью крестя,
Губы груди моей не знали.
На кладбище люди идут
Дорогая сердцу задача
Отошедшим цветы несут
И живыми слезами плачут.
Обошла бы кругом весь свет
Не найду дорогой могилки,
Только в сердце твой тихий след,
Плоть от плоти, от жилок жилка.

Или строчки из другого стихотворения того же сборника:

Ведь солнце сегодня ярко
И легче земные ноши,
Но сердце – пустая барка
И груз её в море брошен.
И мне все больней и жалче,
И сердце стынет в обиде,
Что мой нерожденный мальчик
Такого солнца не видит.

Другое стихотворение того же сборника привносит новый мотив:

Так время светло протекало
И солнце спускалось так близко,
И так горячо целовало
Его ожидавшие ризки.

Под сердцем тепло и несмело
Оно шевелилось и жило,
Но тело, безумное тело,
Родной тяготы не сносило.

Мне травы на крик отвечали
И плакали росы со мною,
И узы священной печали
Меня сочетали с землею.

С тех пор её зову покорна,
Все слушаю каждой весною,
Как в ней наливаются зерна
Моею печалью и – мною.

Тут особенно замечательны строчки:

Но узы священной печали
Меня сочетали с землею.

Шкапская здесь касается глубинных пластов русского сознания. Бердяев об этом говорит так: „Очень сильна в русском народе религия земли, это заложено в очень глубококом слое русской души. Земля – последняя заступница. Основная категория – материнство... Личное воплощение получает только мать-земля.“⁴⁾

Об этой связи с землей говорится и в другом стихотворении:

Припасть к тебе, как к терпкому причастью,
Мы все сойдем в безмерные поля,
Чтоб стать твоей неотделимой частью,
Владычица и мать моя, земля.

Возможно, что эта тесная и таинственная связь с землей восходит к языческим временам, к обожествлению матери-земли. Об этой связи знал и Достоевский: о ней говорит Хромоножка в „Бесах“, выразительница религиозно-этических воззрений народа. Вячеслав Иванов замечает о Марии Лебядкиной: „Ребенок-то только воображаемый; но без грезы и скорби о ребеночке не была

бы полна идеальная жизнь этой женской души, отразившей в себе, как в зеркале, душу великой Матери – сырой земли.“⁵⁾

В этой связи следует также упомянуть статью Достоевского „Земля и дети“, где он пишет: „В земле, в почве, есть что-то сакраментальное...“ Дальше он говорит о том, что русский крестьянин предпочел бы остаться в крепостной зависимости, если бы ему предложили освобождение, но без земли: „Уж когда свободы без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля – всё, а уж из земли у него и все остальное, то-есть, и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь – одним словом, всё что есть драгоценного“. Это мистическое представление о земле, как о месте рождения отдельного человека и всего народа, он противопоставляет „беспочвенным интеллигентам“ XIX-го века. Статья заканчивается совершенно в духе Шкапской: „Тяжело деткам в наш век возрастать...“⁶⁾

Другое стихотворение повествует о трагических переживаниях женщины:

Да, говорят, что это нужно было...

И был для хищных гарпий страшный
корм, и тело медленно теряло силы,
и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая – не
радостью, не так, как в прошлый раз,
и после наш смущенный глаз не ра-
довала колыбель пустая.

Вновь, по-язычески, за жизнь своих
детей, приносим человеческие Жертвы.
А Ты, о Господи, Ты не встаешь из
мертвых на этот хруст младенческих
костей!

Об этом же говорит и другое стихотворение (в сборнике „Земные ремесла“):

Ах дети, маленькие дети, как
много вас могла-б иметь я вот
меж этих сильных ног — осу —
ществленного бессмертия почти
единственный залог.

Когда-б, ослеплена миражем
минутных ценностей земных, це —
ною преступлений даже, не отре —
лась от прав своих.

И Шкапская указывает одну из причин абортов в
советское время: не хватает времени и денег на детей.

С мертвым миром лицом к лицу
Не до детей отцу
Чисто расчислен бюджет,
Детям в нем места нет.
Дети, как цветы, нежны,
Цветы бойцам не нужны.
Завтрашний день будет светел и ал,
Человек за него детей отдал.
И за это завтра, за святую ложь —
Ложится жена под нож,
В теплую плоть входит пинцет, —
Крик... взмах... больше нет.
Легкое тело, раненый взгляд,
Время никогда не идет назад.
Времени вечен и точен ток.
Сорванный не расцветет цветок,
Но дитя к ночи не перестанет звать
Осиротелая мать.

(„Человек идет на Памир“)

Тут особенно знаменательны выражения „завтрашний
день“, „завтра“, „святая ложь“ — это все те лживые обеща-
ния будущего земного рая, которыми до сих пор

пытаются одурачить доверчивых людей. Шкапская, повидимому, поняла этот обман давно и осудила его с чисто женских позиций, И действительно, вся тяжесть, переживаемая семьей после революции, легла в основном на женщину. И еще – на детей. Шкапская выразила это в следующих строках:

Под шагами тяжкими и важными
как былинки питались они в наши
жесткие, многоэтажные, в городские
наши дни.

Забываем мы о них по неделям, и
с утра уводим в детский сад,
их – невоплощенных Рафаэлями,
не таких, как пел Рабиндранат.

(„Барабан Строгого Господина“)

Иногда Шкапская восстает против женской доли вообще, она бунтует:

О эта женская Голгофа! – всю
силу крепкую опять в дитя отдай,
носи в себе, собой его питай – ни
отдыха тебе, ни вздоха.
Пока, иссохшая, не свалишься в
дороге – хотящие придти грызут тебя
внутри. Земные правила просты и
строги: рожай, потом умри.

Но обычно женская доля воспринимается совсем в другом плане:

Я женщиной цвету в полях зем –
ных – невзысканной, негромкой и

невидной, и мой удел – простой и незавидный (уделов, может быть, для нас и нет иных): поутру цвезть, дать в полдень сочный плод и сник – нуть к вечеру – когда роса спадет с тускнеющих и блекнувших вы – сот.

В других, еще более радостных строчках, она воспекает материнство:

О, тяготы блаженной искушенье,
соблазн неодолимый зваться „мать“
и новой жизни новое биенье
ежевечерне в теле ощущать

По улице идти как королева
гордясь своей двойной судьбой.

И знать, что взыскано твое слепое чрево
и быть ему владыкой и рабой...

То, что до сих пор смущает советских критиков, это подход поэтессы к вопросам пола. При этом, эти критики совершенно забывают, что 20-е годы, как никак, были годами „свободной любви“, раскрепощения, либерализации и т.д. Конечно, даже само слово „пол“ не фигурирует при обсуждении поэтических тем Шкапской. Его обходят, примерно, таким образом: „...другой, интимный план книги „Mater Dolorosa“ привлек внимание обывателей – литературных в том числе. Они ополчились на поэтессу, готовы были забросать её камнями, хотя бы словесными, за то, что она говорит о том, на чем всегда лежал запрет“.⁷⁾ Запрет этот, очевидно, лежит и сейчас на этой теме. Кстати, к „обывателям“ можно причислить и Константина Федина, который писал Горькому об успешной работе Шкапской над „Историей фабрик и заводов“ добавляя: „Подумать только, что она начинала с эротически-

мистических и физиологических стихов!“⁸⁾ И чем, собственно, советская литературная критика отличается от этих „обывателей“ даже и теперь? Что же так напугало (и продолжает пугать) советских моралистов? Тут надо вспомнить смелые строчки из сборника „Кровь-руда“ (кстати, Горький отозвался отрицательно об этом сборнике):

Веселый Скоровод, следишь смеясь
за нами, когда ослепшая влечется к
плоти плоть, и спариваешь нас в
хозяйственной заботе трудолюбивыми
руками.

(„Кровь-руда“)

Та же тема, в несколько ином преломлении, была затронута уже в сборнике „Барабан Строгого Господина,,:

Пара за парюю – муж с женой,
в любовном танце один с одной.
Вчера родили и вновь зачнем
И вновь родим – жизнь наша в том.

В подходе к половым вопросам Шкапская, возможно, близка к В. Розанову, о котором она, без сомнения, знала – они были почти современниками. Как сказал о Розанове Бердяев: „Он был очень талантлив, но талант его разворачивался на талантливой теме. Это – тема пола, взятая как религиозная. Если благословлять жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол.“⁹⁾ Розанов превозносил материнство в своих писаниях: „Да, будь бы я Богом – устлал бы рождение цветами: ведь такое благодеяние для рода человеческого и всей земли“, или „Что такое девушка an und für sich как не построенный дом, в который еще не вошел и не населил его жилец? Бессмыслица! Напрасный труд строительства, проступок против цивилизации. Ребенок, материнство, супружество есть

население пустого дома, к которому рвется и каждая должна рваться с той неодолимостью, как, по представлению древних, рвалась природа, боявшаяся пустоты...¹⁰⁾ Очень возможно, что Розанов оказал влияние на поэтессу в этом отношении; недаром некоторые определения Розанова могут быть почти дословно отнесены к Шкапской.

Однако не следует понимать это сходство в смысле переимчивости поэтессы. Шкапская вполне оригинальна в разработке этой темы.

Необходимо также отметить, что в творчестве Шкапской с самого начала присутствовал и религиозный момент. Уже в раннем сборнике „Час вечерний“, религиозные мотивы звучат по временам сильно и страстно. Верно, что религиозное звучание усилилось в последующих сборниках; возможно, что это связано с апокалиптической обстановкой тех лет. Пример такой поэзии – мольба о матерях:

Боже мой, и присно, и ныне
В наши кровью полные дни
Чаще помни о Скорбном Сыне
И каждую мать храни.
Пусть того, кто свой шаг неловкий
К первой к ней направлять привык,
Между двух столбов на веревке
Не увидит ужасный лик.
Пусть того, кто в крови родился,
Не увидит в чужой крови.
Если ж надо так, Боже милый,
То до срока её отзови.

(„Mater Dolorosa“)

Вероятно, стихотворение связано с событиями революционного времени или с гражданской войной. Но самым сильным произведением этой поры, без сомнения, является поэма „Явь“. Она помечена 1919 годом и предс-

тавляет собой отклик на кровавые расправы гражданской войны. Опираясь по временам на живой диалог, поэма до крайности реалистично описывает казнь. Зачинщики расправы не названы, многое оставлено в тени, но это и является лучшим доказательством, что виновники не Белые, иначе почему бы не назвать их прямо? Да и установка самого автора не ясна, на чьей она стороне? Если вернуться к предыдущему стихотворению („Боже мой, и присно, и ныне...“) то можно ответить, что она на стороне матерей. Концовка поэмы подводит нас к другой теме, важной для Шкапской, а именно, что только традиционные духовные ценности, берущие свое начало в религии, способны обуздать зверя в человеке. Конечно, концовка была найдена „неожиданной“ и „мистической“, а Горький упрекал поэтессу в отсутствии пафоса, „того пламенного увлечения темой, которое в моих глазах выдвигало Вас на первое место и вполне 'свое' Ваше место среди современных женщин-поэтесс... Поэма суха, схематична, это еще не поэзия, а материал для нее.“¹¹⁾

Характерно, что Горький „не заметил“ за эпическим и приглушенно-сдержанным тоном поэмы, яркую страстность, свойственную Шкапской в её лучших произведениях. В кратких репликах стоящих у виселицы зрителей казни нашли отражение многие лозунги и ходкие выражения того времени:

„Знаете, мы ведь не против революции,

Мы за конституцию“

„Вот он – Мессия“

„Бей жидов и спасай Россию“.

„Какой тощий!“

„Экие ведь звери. Верно нагайкой..?“

„А черниговские мощи?“

„А киевская чрезвычайка?“

Концовка же близка стилистически к Ремизовскому „сказу“ и отчасти к народной традиции. Это своеобразный перечень русских святых и икон:

Иван креститель,
Пантелеймон целитель,
Никола седенький,
Алексей простенький,
Ипатий с тремя морщинками,
Касьян – редкий именинник,
Убиенный царевич Димитрий
И все пресвятые Богородицы:
Смоленские, казанские, володимирские,
Скорбящая, Троеручица, Одигитрия,
И другие – без всякого имени.

Последние строчки снова возвращаются к сухому, почти протокольному описанию:

А когда утром пришли православные –
Все так же качался удушенный,
Так же плечи его сутулились,
Только на церкви кресты пошатнулись.

Великолепное стихотворение „Россия“ заканчивается сильными (так и хочется сказать „мужскими“) строчками:

Но Христос не вечерние славы
Пречестных твоих мук причащен,
И краев твоей ризы кровавой
Поцелуем касается Он.
И послаще сладкого дара
Для ноздрей Его неодолим,
Поминальных твоих пожаров
Терпкий запах и горький дым.

Итак, религиозные мотивы присутствовали всегда, но особенно усилились в тяжелые годы гражданской войны и связанных с ней жестокостей.

Уже Мариэтта Шагинян отметила некоторые особенности формы Шкапской: „Лучшие стихи у Шкапской напечатаны не колонками, а кусками прозы, как в Библии напечатаны стихи Песни Песней и Псалмов. И это очень хорошо, ибо у нее дается своеобразная, полу-прозаическая форма (скрепленная **образом**, а не ритмом и рифмой, положение которых чисто внешнее, и потому они сознательно примитивны). Эта форма – нечто подобное музыкальному речитативу.“

Конечно, Шкапская не всегда придерживалась этой „полу-прозаической“ формы и, может быть, не все лучшие стихи написаны именно в этой форме. В остальном Шагинян верно отметила необыкновенное впечатление, произведенное яркими, сильными стихами поэтессы: „И вот Петербург, вместо привычных бездетных лириков (Такое хрупкое у меня тело, а вы хотите, чтобы я имела... детей – Мария Моравская), слушает сейчас священное бесстыдство Марии Шкапской, ни на что прежнее не похожее. Кто посмел бы несколько лет тому назад так интимно раскрыть физиологию материнства? А она посмела.“¹²⁾

В зрелый период творчества Шкапская совершенно оригинальна; в это время она не принадлежала ни к какой поэтической группировке. Что же касается воздействий, то Б. П. Козьмин, например, считает, что на нее влияли Уолт Уитман, И. Эренбург и Елена Гуро.¹³⁾ „Влияние“ вероятно слишком сильное слово. С Уитменом её роднит витализм, энергия стиха; Эренбургу (с которым Шкапская, возможно, была знакома в Париже), она посвятила сборник „Кровь-руда“. У Эренбурга того периода (начало 20-х годов) были стихи, созвучные Шкапской („Молитва о России“, „Судный день“). Название сборника „Барабан Строгого Господина“ заимствовано у Елены Гуро: „Мы тащимся под барабан Строгого Господина“.

Советские исследователи любят подчеркивать значение Блока для поэтессы, цитируя следующее высказывание:

„Только много лет спустя поняла я, как много сделал для меня в то время Блок, почему так настойчиво предостерегал от Гумилева и всего того, что было связано с ним, как просто запретил мне войти в Цех поэтов, где я собиралась совершенствоваться в теории стиха, как политически умно и верно направлял мою (да и всю работу Союза в целом) и как откровенно радовался, когда после организованного им, Блоком, моего совместного с ним выступления в Доме искусства, Гумилев отказался подать мне руку за содержание одного из моих стихотворений.“¹⁴⁾ Ценное признание: действительно, Блок действовал „политически умно и верно“ (что, однако, не предотвратило его гибели). В сборнике „Кровь-руда“ есть довольно таинственные строчки, относящиеся к Блоку (и, с точки зрения Шкапской, не очень лестные):

Детей от Прекрасной Дамы иметь
никому не дано..

Высказывание о Гумилеве кажется довольно загадочным: Блок „спасает“ её от Гумилева и Цеха поэтов, он откровенно радуется, когда она расходится с Гумилевым, и все это она поняла гораздо позже. В противовес этому имеется свидетельство Ирины Одоевцевой о том, что Шкапская входила в „Литературную студию“ Гумилева в 1919 году.¹⁵⁾ Следы воздействия Гумилева совершенно очевидны, особенно в сборнике „Земные ремесла“, даже и в названии (хотя оно отчасти, вероятно, восходит к „святому ремеслу“ Каролины Павловой). Но такие строчки Шкапской как:

Первые рудокопы в Перу,
Финикийцы на первых морях

совершенно очевидно навеяны „Капитанами“ Гумилева. Не упуская из виду, что темы, подход и даже зачастую форма Шкапской в большинстве случаев совершенно оригинальны, можно утверждать, что стиль её сформировался под влиянием Гумилева. Ясность, простота, сдержанность (при внутренней страстности) несомненно от

акмеизма. И, несмотря на ясность и силу, это все-таки чисто женские стихи. Шкапская искала спокойной, семейной жизни, счастья материнства, но и духовного озарения и просветления, которых она так и не достигла, то ли из-за буйного времени, в которое она жила, то ли из-за собственной неудовлетворенности и страстной натуры. По временам кажется, что она нарочно сузила круг своих интересов, сосредоточиваясь исключительно на теме женских страданий, материнства, детей. Ей, вероятно, было присуще то, что Унамуно назвал „трагическим восприятием жизни“. И как далека Шкапская от современных оголтелых феминисток, требующих освобождения от извечной роли женщины – хранительницы очага, воспитательницы детей, смягчающей грубые нравы и вымаливающей у Господа прощение и спасение своим непутевым сыновьям, братьям, мужьям...

- 1) К. М. Накорякова „Мария Шкапская. Пути и поиски“, Москва, 1968, стр. 9.
- 2) „Пути и поиски“, стр. 28, 29.
- 3) Сборник «А. М. Горький и создание 'Истории фабрик и заводов'», Москва, Соцэргиз, 1959, стр. 124.
- 4) Н. Бердяев, „Русская идея“, ИМКА-Пресс, Париж, 1971, стр. 10.
- 5) Вячеслав Иванов, „Борозды и межи“, Бранда, 1971, стр. 58-59.
- 6) «Земля и дети», „Дневник писателя“, июль-август 1876 г.
- 7) К. М. Накорякова, „Пути и поиски“, стр. 11.
- 8) «Литературное наследство» том 70, „Горький и советские писатели“, Москва, 1963, стр. 545.
- 9) Н. Бердяев, „Русская идея“, стр. 10.
- 10) В. В. Розанов, „Среди художников“, Ст.-Петербург, 1914, стр. 190, 122.

- 11) „Пути и поиски“, стр. 12.
- 12) М. Шагинян, „Литературный дневник“, «Круг», Москва-Петербург, 1923, стр. 173, 189.
- 13) П. Козьмин, „Писатели современной эпохи“, Москва, 1928, стр. 271-272.
- 14) „Пути и поиски“, стр. 10.
- 15) И. Одоевцева, „На берегах Невы“, Вашингтон, 1967, стр. 42.

НАШИ ВЕСТИ

**Издание Союза Чинов Русского Корпуса
Журнал основан полковником А. И. Рогожиным**

**Редактор Н. Н. Протопопов
Казначей А. А. Пустовойтенко**

**Журнал выходит ежеквартально
Подписка на 1 год 12 ам. долларов**

Подписку направлять по адресу:

**NASHI VESTI,
P. O. Box 5741,
Presidio of Monterey, CA 93940, USA**

К. де Рошефор*

Влияние древне-русской деревянной архитектуры севера на развитие зодчества в России

Европейская культура переживает в настоящее время катастрофическую эпоху, вследствие тех опытов, которые проделываются над величайшей страной Европы кучкой бессовестных интернациональных авантюристов, в сотрудничестве с безумными русскими фанатиками. Возможно, что они в своей погоне за лаврами Герострата задались целью не только стереть с лица земли великолепные памятники русского искусства, но и вообще мечтают остановить или, быть может, даже вернуть вспять всю русскую культуру, которая до революции достигла поразительных результатов. Но, думаю, мне, что в этом отношении за будущее русского народа тревожиться не приходится. Тот народ, который сумел, свергнув с себя татарское иго, достигнуть в своем культурном развитии таких результатов, чтобы стать наравне с культурнейшими странами Европы, тот народ, который в некоторых областях просвещения и прогресса сумел занять первенствующее положение, конечно сумеет вновь, по окончании коммунистической заразы, дать миру доказательства своей дееспособности на почве культурного строительства. И даже те великолепные памятники искусства, которые уже уничтожены большевиками, или те, которые еще будут уничтожены в предсмертных конвульсиях большевистской власти, и они могут быть восстановлены впоследствии благодаря трудам русских

* Выдержка из доклада. Перепечатка из сборника статей „К познанию России“, Выпуск первый, Париж, 1934 г.

ученых – исследователей старины, знаменитых зодчих, археологов и художников, как: Забелин, Самоквасов, Прохоров, Суслов, Шамурин, Билибин, Рерих и др. В составленных ими трудах они запечатлели многие памятники русской старины с фотографической точностью. Великолепные издания эти разбрелись по государственным, общественным и частным книгохранилищам всего мира. Из них мы имеем возможность черпать теперь точные сведения для наших докладов о памятниках русской старины, дабы восстанавливать их в памяти тех, кому посчастливилось жить среди них и любоваться их красотами; а молодому русскому поколению, которое не имело этой возможности, внедрять любовь и познание родного ему искусства, которое необходимо изучать, дабы возродить его прежнюю славу, когда придется этому поколению принимать участие в восстановлении русской культуры, попорченной вторичным варварским порабощением русского народа.

В моем сегодняшнем докладе я многочисленными заимствованиями из прекрасных трудов академика Сулова, В. Никольского, И. Грабаря и Ю. Шамурина, а также и по собственным воспоминаниям, сообщу о памятниках древнего русского зодчества Севера и укажу на то влияние, какое оно имело на развитие эпохи русской архитектуры, прозванной золотым её веком (Московским стилем XVII столетия).

Весь северный край с Ильмень-озером, Господином Великим Новгородом, с истоками Волги и бассейнами рек, впадающих в Белое море, издавна покрытый дремучими лесами и сравнительно бедный камнем, прозывался встарину „Лесною Землею“. Естественно, что в нем развивалась деревянная архитектура.

В этой деревянной архитектуре, среди суровой природы севера и его дремучих лесов, русский зодчий проявил такое артистическое чутье в составлении общих масс и отдельных частей воздвигнутых им сооружений, что северный край может быть смело назван музеем великолепного самобытного русского искусства. Главным же

двигателем его развития было насаждение в том крае христианства.

„Из летописей нам известно, что Преподобный Герасим, насаждая в 1147 г. христианскую веру, нашел в Вологде церковь Воскресения Христова. Остановившись в этом пункте, он воздвигает Троицко-Кайсаровский монастырь и постепенно совершает победу над язычеством. Вологодский край скоро начинает привлекать внимание новгородцев. Они заводят колонии, рубят города для защиты от неприятеля, посылают священников крестить карелов, ставят часовни, церкви, – словом Север начинает быстро культивироваться и народ проникается духом новой религии. Димитрий Прилуцкий, уроженец Переяслава Залесского и друг Пр. Сергия Радонежского, основал первый общежительный монастырь на берегу реки Вологды. Проложив дорогу в Комельский лес и настроив там келий, он превратил эти непроходимые места в новую колыбель проповедников Имени Христа. Несколько позже св. Стефан (Зырянский) вносит христианство в древнюю Беармию, к зырянам, переводит на их язык церковные книги, воздвигает первую церковь в Усть-Выме; далее, проходя деревни, непоколебимо проповедуя учение Христа, в короткое время обращает язычников в христианство на протяжении двухсот верст“, – писал в своих очерках В. В. Суслов. При его преемнике, Исакии, христианство проникло и на Печору. А в начале XV столетия два Валаамских инока: Савватий и Герман первыми перебрались на Соловецкие острова и с прибывшим позже, по кончине Савватия, Новгородским иноком Зосимою, занялись постройкой часовен и церквей на землях Марфы Борецкой, владевшей тогда и Соловецкими островами, и чуть ли не всем берегом Белого моря от Онеги до Кеми, которые она и подарила Соловецкой обители. Главным же устройтелем Соловецкого монастыря был друг детства царя Иоанна Грозного, боярский сын Федор Колычев, ставший игуменом Соловецким, а затем и Митрополитом Московским, святителем Филиппом, смелым обличителем Грозного, за что и

был умерщвлен Малютою Скуратовым. Во время его игуменства по острову проведены были прекрасные дороги, озера соединены каналами и построены каменные храмы.

Кроме Митрополита Филиппа, из иноков этого монастыря вышел известный проповедник, Феодорит Кольский и знаменитый Патриарх Никон. Все они, распространяя христианство, явились основоположниками развития **великолепного самобытного русского искусства.**

Таким образом, с распространением христианства в Лесной Земле, физически здоровый народ делается таковым же и в нравственном отношении. Окружавший его строительный материал, который сравнительно легко поддавался обработке, удобно доставлялся летом по водным путям, а зимою волоком по снегу и крайне спорый, при возведении крепостных ли стен, монастырских ли сооружений или жилых горниц, сделал то, что русский плотник проявил во всей полноте мощь своего гения и самобытное чутье красоты в деревянном зодчестве, работая одним **топором**, ибо пила стала известной на русском севере не более 150 лет тому назад.

Не мало потрудились тогда плотники, чтобы из срубленных деревьев наготовить досок, для чего расщепляли дерево клиньями (тоже деревянными) и полученные таким образом куски обтесывали с двух сторон топором. Отсюда и получилось название **теса**, тесины.

Известно, что деревянные храмы на Руси строились задолго до её крещения, и хотя они не дошли до нашего времени, мы можем догадаться об этом из летописного материала и вывести заключение, изучая деревянные храмы, сохранившиеся с XVI века на севере. Естественно, что они сохранили самобытные формы тех храмов, которые упоминаются у летописцев (с X века) и явились их правопреемниками в бытовом, конструктивном и художественном отношении. Про Софийскую соборную церковь в Новгороде, построенную, по словам летописца, в 989 году, упоминается, что она была дубовая и украшена была тринадцатью верхами. Следовательно,

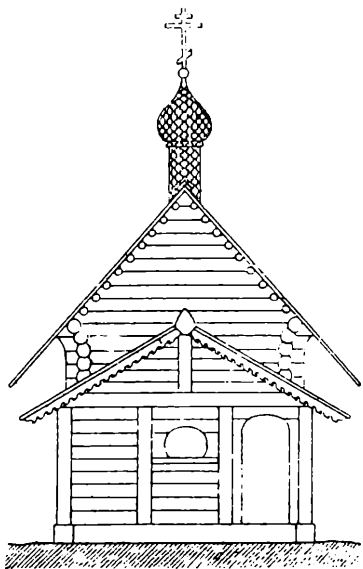
Новгород, который славился с древнейших времен своими искусными плотниками, уже в X-м веке знал сложные формы построек, которые, надо думать, при-сущи были самобытному зодчеству, ибо вряд ли греки, принесшие каменную архитектуру Византии, знали сложную форму деревянной архитектуры севера. Софийская соборная церковь о тринадцати верхах должна была представлять очень сложное сооружение, требовавшее большого знания и опыта.

По наличию чудесных памятников деревянного зодчества севера XVI-го века, дошедших до нас, с их совершенными формами, очевидно, что они явились продуктом вековых трудов русских зодчих и послужили образцами для создания каменных церквей следующих эпох.

Древние века создали несколько разновидностей храмов: клетские, шатровые, кубовые, ярусные, многоглавые, храмы корабли и колокольни. Но все деревянные храмы, сохранившиеся на севере, могут быть подразделены на две основные группы: **клетскую и шатровую**.

К первой группе относятся те, которые состоят из сруба прямоугольником, называемым клетью, с маленьким прирубом с восточной стороны для алтаря и открытой галлереею с западной. Перекрытие у них так же, как и на избах, на два ската. Группа этих церквей самая многочисленная, причем клетские храмы, по всей вероятности, являются первичной формой. Надо думать, что именно эта форма, заимствованная у простого жилища, была дана первым деревянным храмам на Руси, по принятии христианства. Едва ли строители этих первых храмов видели каменные византийские храмы или что-нибудь им подобное и по необходимости должны были приспособлять формы своих жилищ к новому назначению.

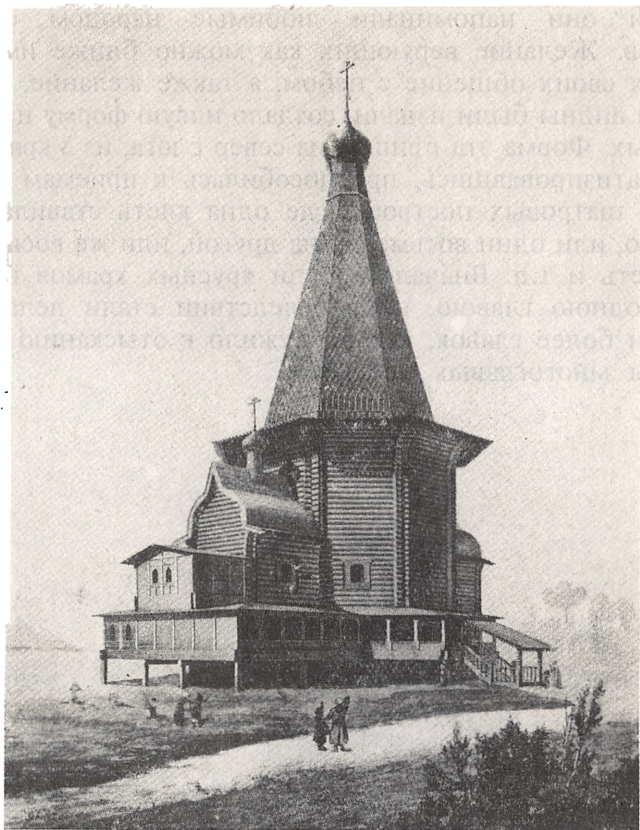
К второй группе церквей относятся те, которые имеют в основании восьмиугольник, а, следовательно, и сруб у них восьмигранный, не похожий на обычную форму жилища. Очевидно, строитель её задался целью отметить церковное значение сооружения не одним крестом на его



Клетская церковь Воскресения Лазаря в муромском монастыре Олонецкой губернии постр. 1350 года.

вышке, но и по самой форместройки. Здесь каждый венец срублен по округлому, в восьмерик, и вся стопа покрыта по способу, не применявшемуся в избе, именно на восемь скатов в виде палатки или шатра. Таких шатровых храмов на севере чрезвычайно много. Шатры эти с их главками зачастую покрывались особой деревянной чешуей, которая называлась лемехом. Лемехи эти выстругивались из осины тонкими, узкими дощечками, наружные концы которых вырубались в виде креста.

Шатровые церкви, так любовно привившиеся на севере России, подверглись со второй половины XVII-го века гонению, вследствие целого ряда запрещений их строить. Чем это было вызвано, в точности неизвестно. Одни обвиняют Патриарха Никона и его последователей, находивших якобы эту форму церквей неканоничной. Другие, наоборот, обвиняют юго-западное духовенство, с половины XVII-го века водворившееся в Москве. Но так или



Шатровая церковь Владимирской Божией Матери на Белослуцком погосте Вологодской губ. Солвычегодского у., постр. 1642 г.

иначе, факт гонения на шатровые церкви в действительности существовал, что и вызвало искание новых форм в церковном строительстве на Руси. Только на севере, далеко от блюстительного ока, зодчие, хотя и отыскивали новые формы, но по требованию народного вкуса продолжали или строить шатровые храмы, или близкие к ним – храмы кубические. Кубические храмы явились видоизменением шатровых, причем некоторые строители ухитрялись придавать им такой контур, что

издали они напоминали любимые народом формы шатров. Желание верующих как можно ближе иметь в храмах своих общение с небом, а также желание, чтобы храмы видны были издали, создало новую форму церквей ярусных. Форма эта пришла на север с юга, из Украины и аклиматизировавшись, приспособилась к приемам клетских и шатровых построек, где одна клеть ставилась на другую, или один восьмерик на другой, или же восьмерик на клеть и т.д. Вначале кровли ярусных храмов вершились одною главою, но впоследствии стали делать по пяти и более главок, что послужило к отысканию новой формы многоглавых церквей.



Кубическая церковь во имя Св. Параскевы в селе Шуе Архангельской губ.
Кемского уезда, постр. 1666 года.

Колокольни появились в России довольно поздно. В первые века христианства народ призывался в церковь деревянным или железным билом. В русской церкви это продолжалось до XV-го века. Колокольни хотя и упоминаются в XI веке, но, видимо, не были распространены. Даже в XV-м веке колокола часто заменялись клепалом, имеющим вид полого шара с металлическим языком внутри. Самый древний вид колокольни — так наз. „звонницы“ (тип их сохранился в Новгородских и Псковских



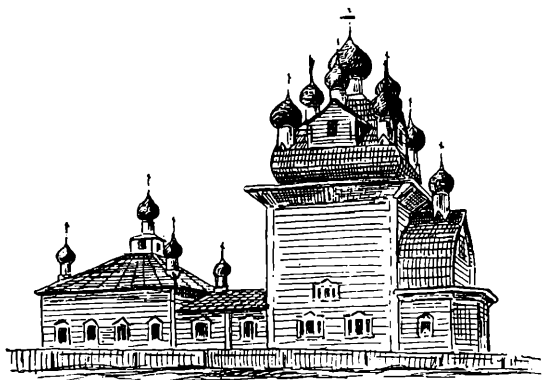
Ярусная церковь Вознесения в г. Торжке, постр. 1653 г.

церквах). Вполне развитый тип русских колоколен встречается только в конце XVII-го столетия. Относительно же деревянных колоколен можно безошибочно сказать, что тип их был вполне определен, если не в XV-м столетии, то во всяком случае в XVI-м, судя по летописи Вологодского собора, в которой упоминается о сдаче подряда в 1621 году: „...рубить колокольню о 8 стенах“. Все колокольни вначале стояли отдельно от церквей, большей частью на юго-восточной и северо-западной сторонах. Покрытие колоколен в большинстве случаев одношатровое, в редких случаях пятишатровое.

Только в середине XVII-го века появляются попытки соединить храм и его колокольню в одну общую композицию, как в деревянных, так и в каменных церквах. И в этом случае колокольню ставили над главным западным входом. Основной прием при этом оставался тот же: та же обычная шатровая колокольня, как бы врезалась наполовину в массу клетского храма, из кровли которого выставлялась только верхняя её часть. Этот тип церквей и получил название храмов-кораблей.

При рассмотрении характерных особенностей древнерусской деревянной архитектуры, нельзя не упомянуть, что необыкновенному развитию её способствовало и то, что русские князья не особенно жаловали каменные постройки и больше любили жить в деревянных хоромах. Такое предпочтение, конечно, дало возможность, особенно в Лесной Земле, развить плотничное искусство от самых первобытных его приемов, до создания художественных произведений. Притом, судя по памятникам, деревянная архитектура не брала себе чуждых ей форм, как случалось это с каменной. Оставаясь всегда верной самой себе, она шла вперед на своих рациональных началах, своими народными силами.

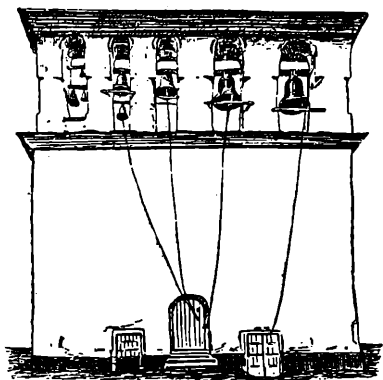
Прекрасно освоившись со своим делом, русский мастер давал полный простор своему воображению, что так ярко выразили строители: Сенька Петров и Ивашко Михайлов, в деревянном Коломенском дворце царя Алексея Михайловича, к несчастью дошедшем до нас лишь в модели,



Многоглавая церковь Бережно-Дубровского погоста Олонецкой губ.,
постр. 1678 года.

сделанной по приказу мудрой царицы Екатерины II, перед его разборкою за ветхостью, и по панораме, сделанной её любимым архитектором, Джакомо Гваренги, с натуры.

Резное дело на севере, так же в силу известных благоприятных условий, дошло до прекрасных образцов, которые можно видеть запечатленными графом Бобринским в великолепных альбомах: „Народные русские деревянные изделия“, (Москва 1911).



Тип звонниц Псково-Новгородского периода.

Таким образом, на севере народное мастерство, развиваясь собственными силами, дошло до нас в весьма самобытных и изящных образцах русского зодчества. „Чем дальше в глубь времен отодвигается памятник, тем более чувствуется простота и мощь его строителей. В воспоминании встают циклопические постройки Греции, грандиозные сооружения Египта. Какая-то неведомая нашим дням могучесть чувствуется в срубах древних деревянных церквей, сооруженных из гигантских бревен,

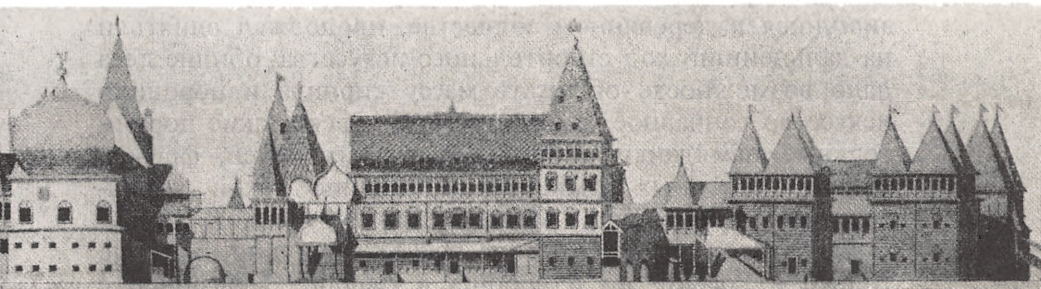


Пятишатровая колокольня на Ракульском погосте Архангельской губ.
Шенкурского уезда.

каких не сыщешь теперь ни в одном лесу и которыми должны были ворочать не нынешние люди“, – говорит Игорь Грабарь.

Каменное церковное строительство пришло в Россию с христианством из Византии и переработалось в ней, применившись к русской природе и народному вкусу. Начавшееся с крещением Руси в X-м веке Киево-Византийским периодом, церковное зодчество пошло в XII-м веке по двум путям: Псковско-Новгородскому и Владимирско-Суздальскому. Каждый из этих путей выработал самостоятельные формы, ярко определяющие тот или другой период истории русской архитектуры.

Возвышение Московского княжества в политическом отношении, со времени княжения Ивана Калиты, повлияло на развитие русского зодчества, заглохшего было при монгольском порабощении русского народа. Иван III, уничтоживший Новгородскую вольницу, подчинивший себе всю Лесную Землю от Ильмень-озера и реки Волги до Белого моря, женившийся на племяннице Византийского Императора, Софии Палеолог, объединивший в гербе Московском Георгия Победоносца и Двуглавого орла, первый русский самодержавный Царь, озабоченный падением строительного искусства, выписывает из Италии опытных мастеров, среди которых находится Рудольфо Фиораванте, и с ними энергично принимается обстраивать Москву каменными Кремлевскими укрепле-



Коломенский дворец царя Алексея Михайловича, постр. в 1666 г., разобран за ветхостью в 1767 году.

ниями и церковными сооружениями. Ученый и опытный строитель, Фиораванте, обучает русских каменному строительному искусству, обучает их делать кирпич и майолику, научает изразцовому и гончарному производству, а сам подпадает под власть чарующих самобытных форм русского искусства.

Белокаменное творчество, начатое при Иване III, продолжается и при его преемниках, переходя постепенно при итальянцах и при голландцах в кирпичное, на которое все более и более оказывало влияние деревянное древнерусское зодчество севера. Оно достигло в XVII-м веке высокого совершенства, определив период, названный Московским стилем XVII-го столетия, создавший в истории архитектуры „Золотой век русского зодчества“.

Деревянные формы древних северных церквей, без внутренних столбов, перекрытые шатровыми крышами, пятиглавые храмы с боченочными кровлями, наружные лестницы, не занимающие места внутри и составляющие декоративные придатки с их шатровыми перекрытиями над площадками: украшение стен орнаментами из рубленых кирпичей и майоликовых изразцов, сделанных по деревянным моделям искусных северных мастеров, наконец, майоликовые главки, чешуйчатые черепичные шатры, – все эти отличительные особенности каменной архитектуры Московского периода XVII-го века заимствованы из деревянного древне-русского зодчества Севера.

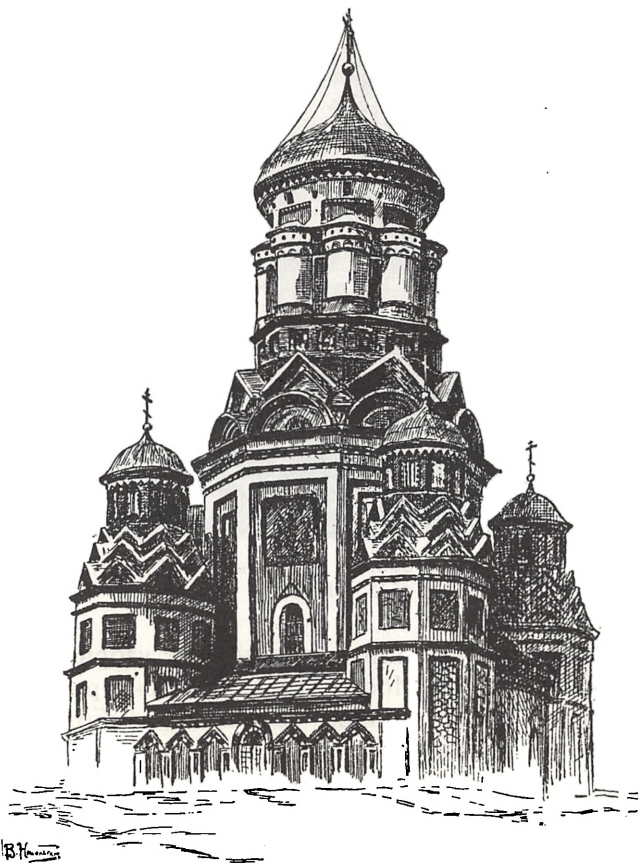
Характер природы, где осел центр жизни страны, выразившийся в деревянном зодчестве, продолжал влиять и на дальнейший ход строительного искусства; обилие леса дало возможность обжигать массу кирпича и породило искусство гончарное, давшее в XVII-м веке такие поразительные памятники в виде муравчатых печей, фриз, целых церковных главок и создавшие такой удивительный памятник в Москве, как Крутицкий терем, равный которому в этом роде искусства трудно найти не только в России, но и вообще в Европе. Занесенное с далекого Востока, из Средней Азии, быть может, через монголов, гончарное искусство, быстро привилось к



Московский Покровский собор — храм Василия Блаженного,
постр. в 1555-1560 гг.

натуре северного славянина, склонного к узорчатым краскам. С XVI-го века Московский архитектурный стиль определяется окончательно, создавая наиболее самобытные формы. Давно уже начавшийся процесс слияния деревянной архитектуры с каменной, завершается созданием Московского Покровского собора, и также церковью Василия Блаженного, которую французский ученый Виолле ле Дюк назвал величайшим созданием русского гения. Построен этот собор в царствование Ивана Гроз-

ного, в 1555-60 гг. Летопись сохранила имена зодчих-строителей собора: Барма и Постник, которые принадлежали, повидимому, к числу зодчих-новаторов. Творение это знаменито не только своею своеобразностью, но также своими глубоко национальными формами, начало которых скрывается в глубине народного искусства. Откуда же Барма и Постник черпали материал для создания этого всенародного чуда? Ответ на этот вопрос мы



Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове Московской губ., постр. в 1529 г.

найдем при рассмотрении храмов, построенных новаторами, в подмосковных селах, Дьякове и Коломенском, за три десятка лет до постройки церкви Василия Блаженного. Уже в XVI-м веке Москва, сосредоточив в себе различные образцы церковной архитектуры, каменной и деревянной, была в состоянии приступить к переработке обширного материала на совершенно новых началах, как художественно-декоративных, так и технико-строительных. Легкость и нарядность перехода от широких оснований к легким и случайным, чисто декоративным главкам в деревянных церквях, повидимому, очень прельщала Московских строителей желавших, но как бы боявшихся, воспроизвести эти формы в камне. Первый пример такого воспроизведения дает пятиглавый храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове, построенный в 1529 г. В нем все подготовлено, чтобы воспроизвести шатры, и лишь привязанность к купольной системе и к пятиглавию помешали сделать это. Во всяком случае, Дьяковский храм содержит в себе те элементы, которые составляют переход от бесстолпных церквей к шатровым.

Вглядываясь в силуэты столпов Дьяковского храма, не трудно заметить, что переходы от восьмерика храма к шеям его глав, несмотря на дробность декорирования кокошниками, в общем пирамидальны и представляют собой как бы зачаточные невысокие шатры. Эти зачаточные короткие шатры твердо несут преувеличенно крупные световые главы. Получившаяся новая форма, средняя между бесстолпной и шатровой, походила на башню или столп, полый внутри. С этого храма Москва делает поворот в сторону воспроизведения деревянных национальных форм в камне, отрешаясь от форм, прототип которых дала Византия. Встав на новую дорогу воспроизведения национальных форм, Московские зодчие неминуемо должны были тотчас же обратить внимание на самую характерную, самую выразительную и наиболее национальную из них — форму шатра. Грандиозность шатровых деревянных церквей была в глаза и, конечно,

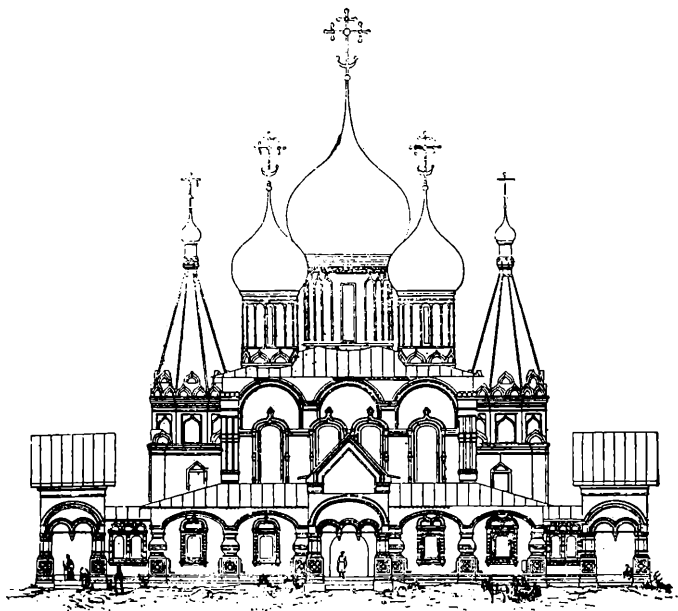
не давала покоя зодчим-новаторам и они через три года, после постройки Дьяковского храма, воздвигают почти рядом с ним новую церковь Вознесения в селе Коломенском, которая является уже точной копией деревянных шатровых церквей. Её поставил тот же Великий Князь Василий III, отец Грозного. Строитель Коломенского храма, создав каменный шатер, открыл этим новую эпоху в русском церковном зодчестве, которую было бы справедливо назвать его именем, если бы оно было известно.



Церковь Вознесения в селе Коломенском Московской губернии, постр. в 1532 году.

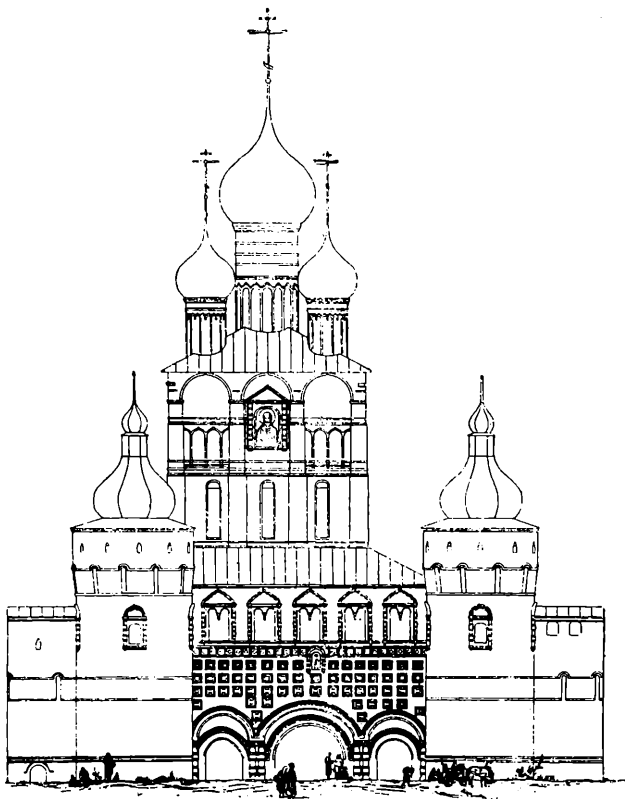
В этих постройках завершился наконец давно начавшийся процесс слияния русских архитектурных деревянных форм севера с западной по происхождению техникой каменного строительства. И через тридцать лет Барма и Постников, воспользовавшись новым направлением в зодчестве, создали своего рода апофеоз шатрового церковного стиля — храм Василия Блаженного. Как истые художники, строители развили и усовершенствовали формы Дьяковской и Коломенской церквей, вводили новые их комбинации, стремясь создать небывалое еще чудо русского зодчества.

„Было время, когда ученые исследователи считали храм Василия Блаженного за постройку чуть ли не мусульманского типа, видя в нем плоды азиатского искусства. Но теперь не может быть сомнения в том, что он, как столетний дуб, разросся из русского жолудя, посаженного в русскую почву и глубоко ушел своими корнями в национальное зодчество минувших эпох. В этой глубокой национальности храма и заключается вся его красота, вся его загадочность для тех, кто воспитан был в других архитектурных идеалах“, — писал В. Никольский. Увековечение в кирпиче и камне исконной формы шатровых храмов не остановилось на храме Василия Блаженного. В том же XVI-м, а затем и в XVII веке форма каменных шатровых храмов продолжала развиваться не только в Москве, но и по всей Руси. Особую группу в Московской архитектуре XVII-го века составляют Ярославские и Ростовские храмы. В них центральное помещение можно крыть не одним, а девятью сводами, что вызывает огромную разницу в размерах. Ярославские храмы вдвое больше Московских. Ширина стен дает свободное поле для декоративных работ, чем Ярославские и Ростовские зодчие широко пользуются и играя Московскими деталями, обильно пересыпают их и украшают цветными изразцами и причудливой раскраской. Таковы церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (1649-54), Иоанна Предтечи в Толчкове (1671) и др.



Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках Ярославской губернии, постр. в 1649-1654 гг.

Московским пятиглавием с выразительными бытовыми формами трапезных крылец и галлерей, с их шатровыми вышками над площадками и шатровыми колокольнями, создавшими тип **храма**, вполне удовлетворяющего установившийся уклад русской жизни, и заканчивается стиль, называемый Московским XVII-го века. Стиль этот самодержавно раскинулся на всю громадную территорию до-Петровской Руси. Правда, конец семидесятых годов того же столетия создает совершенно особый, новый стиль. Стиль этот получил название Московского барокко или иначе, Нарышкинского. Несмотря на то, что он занесен был в Москву с Запада через Украину, некоторые историки архитектуры с натяжкой определяют его самобытность, говоря, что чрезвычайная гибкость и эластичность западных архитектурных форм поддалась необыкновенной переработке в русском влиянии, давши самобыт-



Церковь Иоанна Богослова в Ростове Великом постр. в 1683 г.

ную форму Московского барокко, нигде, кроме Руси, не встречающуюся. Но он имел сугубо местное значение и не имел влияния на дальнейшее развитие церковного зодчества в России.

Указами Петра Великого от 9 октября 1714 г., прекратившим на десять лет во всей России строительные работы, чтобы дать быстрый рост создаваемого им С.-Петербурга; от 21 апреля 1722 г., предписавшим находящиеся в Москве у знатных персон в домах церкви упразднить; и от 11 марта 1723 г., запрещающим впредь сооружение вотчинных церквей, — обессилено было Мос-

ковское строительное творчество. Оно оживилось вновь лишь после кончины Петра, но в новых формах, привезенных его питомцами, вернувшимися из зарубежных стран...

*

Таким образом в XVII-м веке Московский архитектурный стиль превратился уже во Всероссийский; Московские художественные вкусы покорили всю Россию и стиль этот стал самодержавным законодателем для всего церковного зодчества России. В заключение мне остается лишь привести слова Юрия Шамурина из издания: „Культурные сокровища России“, которые явно подтвердят вышеизложенное: „Древне-русское церковное искусство достигло полной зрелости во второй половине XVII-го века. В эпохи, подобные нашему XVII-му веку или католическому средневековью, религии служила вся жизнь и все творчество. Все помыслы, всё умение брала церковь и получая щедрую контрибуцию от жизни, не отгоняла её от своих росписных сводов; древнее православное искусство, как это видно хотя бы из дивной стенописи Ярославских церквей, не ограничивалось узко церковными изображениями; священное писание, история церкви и России, нравоучительные притчи, апокалипсис — все это дает громадное количество тем для целых живописных циклов. Фресками открывается совершенно новый эстетический мир, необыкновенно поучительный для понимания русской души. Но помимо этой поучительности, есть в красоте древних церквей большая прелесть и власть даже над утратившей веру душой: незримые нити возвращают блудного сына к воспоминаниям детства, связывают какими-то подсознательными ассоциациями, пробуждают что-то вечно дремлющее в низинах души. Так, живя в столице, погрузившись с головою в деловую сухую суету, все же встрепенешься и вспомнишь о чем-то родном и далеком, при звоне пасхальных колоков. С итальянских озер, где вечно празднует природа,

все же тянет русского человека домой, на лесную речушку, в тенистый овраг за селом или в русское поле, откуда видны золотые маковки. Эта притягательная сила есть и в старых храмах, в которых так наивно и выразительно кристаллизовалось русское народное творчество XVII-го века“.

РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

**Независимый русский православный
национальный журнал**

Подписка на журнал в США и Канаде на 1 год:

1. С пересылкой простой почтой — 24 ам. долл.
2. С пересылкой воздушной почтой — 39 ам. долл.

Цена отдельного номера в розничной продаже — 7 ам. долл.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в Советский Союз просим увеличить подписную плату насколько кто может.

Просьба чеки выписывать на: "1000 Anniversary Committee"

Подписную плату следует посылать:

"1000 Anniversary Committee"
322 West 108 St.
New York, N.Y. 10025

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»

на США и Канаду

ALMANAC "VECHE"

P. O. Box 68

Flushing St.

New York, N. Y. 11379

Tel. (212) 651-5662

Просьба оформлять, а также продлевать подписку на „Вече” для США и Канады через Генеральное Представительство, по указанному выше адресу.

В Генеральном Представительстве можно заказывать отдельные номера „Вече”

На складе Генерального Представительства имеется книга

„Художник и Россия”

По вопросам розничной продажи „Вече” в США и Канаде просим обращаться в Генеральное Представительство

О. Поляков

ПТЕНЦЫ ИЗ ПАРТИЙНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОГО ИНКУБАТОРА

Смерть Брежнева, беспрепятственное – повидимому – выдвижение Андропова на пост генерального секретаря партии и на другие две ведущие роли в советском государстве – пост председателя Совета обороны и, с некоторым опозданием, пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, персональные изменения в течение его правления и неожиданный выход на авансцену казалось бы оттесненного на второстепенные роли Константина Черненко – привели в смятение и уныние всех „советологов“ и „кремленологов“, показали тщетность их потуг что-то реально прогнозировать в отношении перемен, происходящих на верхах власти в Советском Союзе. Как смаковалась „борьба за власть“ в Политбюро, как подсчитывались голоса одной и другой группировки, как тонко анализировались выступления одного или другого члена Политбюро! На деле же все произошло так, что не укладывается ни в какие концепции этого рода. То же самое можно сказать и о социальной и экономической политике Андропова – большинство прогнозов оказалось неверным.

Еще до смерти Брежнева в иностранной прессе градом посыпались всевозможные предсказания о людях, долженствующих занять ведущее положение после его смерти, самые разноречивые прогнозы о будущем Советского Союза, причем из пыли веков извлекались проро-

чества Нострадамуса, а с книжных полок с более современными предсказаниями — произведения Орвелла и Амальрика, и к ним присовокупили более наукообразные, казалось бы, более логичные и обоснованные фактами, многочисленные высказывания всевозможных специалистов по Советскому Союзу, знатоков закулисных кремлевских дел, всяческих „футурологов“, „советологов“ и „кремленологов“.

Предсказания — если из них попытаться извлечь какую-то усредненную мысль — сводились в персональном отношении к тому, что новый „хозяин“ — Андропов — сильно изменит личный состав правящей верхушки, потеснит или полностью исключит „старичков“ и заменит их новой „командой“, более молодой, энергичной и, главное, несущей новые идеи и готовой на реформы. Когда обнаружилось, что век Андропова не долгов, продолжали все же считать, что персональные изменения, которые он проводит, обеспечат такую „смену караула“ после его смерти.

В программно-идеологической сфере от „либерала“ Андропова и от его молодых ставленников ждали многих перемен. Особенно кардинальные перемены предсказывались в социально-экономической жизни.

Все эти персональные и программные — назовем их этим обобщающим термином — перемены должны были сопровождаться ожесточенной грызней, чуть ли не поножовщиной среди руководства Советского Союза...

Что же получилось на деле? Прежде всего, все признаки показывают, что Андропов занял свой пост без особого сопротивления. Возможно, что никакого сопротивления и не было — среди той массы слухов, что поступают из Москвы, достаточно четко прослушивалось утверждение, что вопрос о послебрежневском лидере давно решен — им может быть только Андропов. Судя по всему — все прошло мирно и гладко — опыт показывает, что любая борьба, любое сопротивление на советских верхах ведет, в первую очередь, к устранению оппозиции в небытие (в сталинские времена — физическое, в нынешнее — полити-

ческое). Этого не было. Если даже предположить, что борьба все же была, но закончилась компромиссом, то дальнейшие события развивались – особенно в персональной сфере – совсем невероятно. В течении всего правления Андропова на ведущие роли выдвигались почти исключительно сторонники Андропова; по мнению зарубежных „специалистов“ – сторонники „нового курса“. Казалось бы, именно кто-то из них должен был стать генсеком после смерти Андропова. Но получилось все наоборот – „оттесненный“ Константин Черненко занял освободившийся после Андропова пост, причем в значительно худших условиях, чем при „соперничестве“ с Андроповым.

Такая же картина наблюдается и в области предполагаемых и ожидаемых реформ. Во внутренних делах Андропов проявил себя не „либералом“, а тем, чем он был по преимуществу – полицейским, а его экономические „реформы“ вылились в стремление административными мерами навести порядок. Что порядок необходимо навести было ясно всем, а методы, которыми пытался это сделать Андропов, не вызывали никакого противодействия со стороны остальных членов Политбюро – все делалось в традиционном советском стиле...

Все это заставляет нас в значительной мере пересмотреть наше понимание того, что представляет собой советская власть сейчас, какое значение имеет генеральный секретарь партии и что из себя представляет Политбюро и люди, входящие в него, насколько эти люди **государственные деятели** и насколько **партийные бюрократы**. Насколько они, включая самого генсека, **личности**, внутренне наделенные **свободной волей**.

Как во многих других случаях, прежде всего мы должны отрешиться от западных образцов государственных деятелей и правителей. В своем громадном большинстве эти люди на Западе – свободные личности, имеющие свои собственные идеи и не обремененные неразрывной связью с какой-либо идеологической системой или общественной программой. Они могут принад-

лежать какой-то партии, исповедывать её идеологию, осуществлять её программу, даже подчиняться партийной дисциплине – но все это добровольно, с сознанием физической и духовной свободы, со свободой выбора. Поэтому любая смена ведущих государственных деятелей – пусть даже принадлежащих одной и той же партии – ведет к значительным переменам если не идейных и социальных принципов, на основании которых действует власть, то к значительному изменению практической государственной деятельности. Довольно часто происходят персональные изменения, иногда полные. Особенно глубокие изменения происходят при смене партий у кормила власти; часто даже происходит значительное нарушение преемственности.

Всего этого нет в Советском Союзе. Советская власть, фактически правящее Политбюро ЦК КПСС, его внешний носитель неограниченной власти – генеральный секретарь – явление совсем другого рода, малопохожее на существующие в мире формы власти, во многих отношениях не имеющие аналогов в истории, явление своеобразное – и **страшное**.

Страшное потому, что все эти люди, входящие в Политбюро, в ЦК, в секретариат партии, в правительство и президиум Верховного Совета, невероятно, нечеловечески похожи друг на друга, все на единый образец, особенно в духовном отношении. Да и внешне они очень похожи – не фигурой, не чертами лица, а неким специфическим выражением лица, манерой держаться. Как цыплята из инкубатора – различия есть, но все же все одинаковые... А они и есть из единого инкубатора, называемого партийно-правительственным аппаратом. В этом инкубаторе приведение к единообразию проводится путем многоступенчатого отбора по определенным признакам – о них мы поговорим ниже – и путем долголетней многоступенчатой проверки с „выбраковкой“ всех, кто не подходит. Система эта безупречно отработана и работает практически без сбоев, да и не могут быть сбои, так как продвижение на каждую более высокую ступень происхо-

дит не путем выборов, не благодаря независимым от партийного аппарата качествам и не под воздействием внешних, не партийных сил, а путем кооптации. Конечно, те, которые кооптируют какого-либо нового члена в свою среду, принимают только себе подобных.

Различия между этими людьми только кажущиеся, внешние, не затрагивающие сущности этих людей. Их внутренняя сущность одинакова, многократно выверена и неизменна. Все они духовно на один образец, они не индивидуумы, не свободные личности. Все они носители единой идеи, единой мысли, единого стремления – при чем эта идея, эта мысль вовсе не марксизм-ленинизм, а их стремление – вовсе не построение коммунистического общества. В это они перестали верить значительно раньше, чем многие в Советском Союзе.

При отборе для допуска на более высокую ступень власти, решающих позитивных признаков два: во-первых, желание и, главное, врожденная способность слепо, беспрекословно, вплоть до совершения преступления, подчиняться вышестоящему начальству, даже при сознании его неправоты или вообще несостоятельности этого начальства. И, во-вторых, абсолютное, не вызывающее никаких внутренних эмоций и сомнений, стремление быть у власти, укреплять как свою власть, так и власть своего начальника. У высшего эшелона власти, которому уже подчиняться некому, это стремление сохранить нынешнюю форму власти становится главным и решающим признаком при отборе. Это, собственно, не обычная жажда власти, а какой-то собачий внутренний императив – **„охранять и сохранять“**.

Никакие другие качества – ум, честность, деловитость – при отсутствии этого императива, при отсутствии этого, затмевающего все властолюбия, не могут открыть пути наверх. Даже наоборот – для хорошего советского партийно-правительственного аппаратчика, вплоть до членов Политбюро и самого генсека, большой ум – качество, вызывающее сомнения. Инициативность же, способность воспринимать чужие идеи, стремление к реформам –

свойства, полностью противопоказанные.

На одной лекции в Советском Союзе, на которой мне пришлось быть, разоткровенничавшийся лектор из райкома заявил, что мы все существенно ошибаемся, считая, что экономика – основа всего, а политика – надстройка. Самое главное – заявил он – политика, и любой вопрос рассматривается прежде всего с политической точки зрения. Как бы ни было полезным какое-то мероприятие, если оно не будет признано политически безупречным, оно будет отклонено. А в политике, продолжал он, основной вопрос – вопрос власти.

„Советологи“, „кремленологи“ и все любители прогнозов, кто имеет уши и разум, да слышит – самое главное власть, только власть! Не ждите, не предсказывайте реформ, которые могут поколебать советскую власть, как бы эти реформы ни были необходимы! Не поддавайтесь соблазну, не верьте, что кто-то там, наверху, готов поступиться хоть иотой своей власти ради народного добра! Не верьте, что там есть либералы и реформаторы – их там **не может быть** – не для этого они прошли многолетнюю школу партийных аппаратчиков, не для этого их многократно тщательно отбирали из многомиллионной массы партийцев и комсомольцев.

Все они как шестеренки в машине – если шестеренка хоть немного не соответствует установленному габариту, она выбраковывается. Новые идеи в эту среду, в правящую корпорацию, не могут проникнуть – нет носителей этих идей, и если кого-либо заподозрят в этой „болезни“ – в способности воспринимать чужие идеи – его немедленно устраняют. Есть такой кандидат в члены Политбюро – Демичев. Когда-то, в дни Хрущева, он был восходящей звездой на советском небосклоне, вождь „младотурок“ в ЦК, реформатор с новыми идеями. Это его, видимо, погубило – хотя никто не сомневается в его верности – он курирует важнейшую область, всю культурную жизнь страны. Его все же посчитали опасным – куда еще могут завести реформы и новые идеи? И путь на самую вершину советского Олимпа оказался для него закрытым.

Такое бюрократическо-аппаратное единообразие членов Политбюро позволяет несколько неожиданно и неприглядно охарактеризовать его и сделать некоторые выводы, которые могут показаться крамольными.

Прежде всего, Политбюро, как орган, формируемый путем кооптирования, очень стабильное и консервативное формирование, мало чувствительное к персональным изменениям, в частности к частым переменам ведущей персоны — генерального секретаря. В истории были уже примеры таких органов власти, а сейчас — римский престол с частой сменой (по возрасту) пап. По той же причине, потому что Политбюро формируется путем кооптирования и является органом консервации, сохранения власти, а не реформ, оно мало чувствительно к возрасту своих членов.

Не имеет никакого существенного значения, сколько лет или месяцев отпущено Черненко быть генеральным секретарем. Умрет он — придет на его место другой, такой же старый или помоложе — и продолжит делать по существу то же самое, как Черненко продолжает дело Андропова, а тот продолжал дело Брежнева и своего учителя и вдохновителя — Сталина. Преемственность власти, всех основных идей и принципов, полностью гарантирована. И возраст членов Политбюро не существен — как бы они ни были стары, основной ошибки они не делают: власти не упустят!

Второе — генеральные секретари партии не такие уж всемогущие диктаторы, как их изображают. Видимо, советские правители считают, — не без основания, впрочем, — что массам нужно имя, нужна фигура, нужен вождь — хоть и фиктивный — и создают генсеку соответствующий ореол. Трудно поверить, что люди добровольно из своей среды выделяют кого-то, более или менее равного им, и наделяют его неограниченной властью над собой. Также трудно поверить, что, скажем, Брежнев, впавший в сенильную протрацию задолго до смерти, мог реально быть диктатором в это время.

Советский Союз знал только одного подлинного диктатора — Сталина. Он же создал нынешнюю систему власти, советский партийно-бюрократический аппарат, который служил ему, а после его смерти стал работать на себя.

Третье, возможно совсем кощунственное — мне кажется, что выдвижение генеральных секретарей партии происходило гораздо разумнее и целесообразнее, чем могло бы получиться, если бы это был результат примитивной борьбы различных группировок. Даже Сталин был именно тем человеком, который требовался для сохранения советской власти — нужно было подавить ставшую ненужной и даже опасной для партии и советского государства, партийную вольницу, считающую, что в силу своих революционных заслуг, она имеет право на мнения и даже действия, не совпадающие с мнением и желаниями правящей группировки. Сталин эту задачу выполнил и заложил основы нынешнего партийно-бюрократического советского государства. Правда, он удачно „перебрал“ за предел, который ему был поставлен, и стал бесконтрольным диктатором. После его смерти встала задача ликвидации последствий диктатуры — был выдвинут Хрущев, опять-таки наиболее пригодный для этого, так как он еще верил в светлое коммунистическое будущее. Но его отжившая свой век вера в коммунизм сослужила и ему, и партии плохую службу — он тоже хватил через край, но в другую сторону. Нужно было отдохнуть и партии, и стране от этих кренов то в одну, то в другую сторону — выбрали Брежнева, человека не столь злого, как Сталин, и не так склонного к эксцессам и экспериментам, как Хрущев. Брежнев засиделся и в конечном результате распустил партию и страну — нужно было навести порядок — появился „специалист“ по этим делам — Андропов. Черненко выбрали для того, чтобы доделать то, что не успел Андропов — навести порядок. Не нужно забывать, что Черненко внутри партии вел ту же рабту, что и Андропов по всей стране. Возможно, Алиев бы больше подошел для разрешения „текущей задачи“ — но подвело его азербайджанское происхождение.

В общем – приятно назвать своих политических врагов „бессильными старичками“ и „безмозглыми бюрократами“, хочется ждать от них реформ, которые могут их самих похоронить. Но не нужно обманывать себя. Все они, независимо от возраста, – если не физически, то психически, – крепкие орешки, отборные, выверенные. Может быть, они не очень мудрые, но они не мучаются передовыми идеями, человеколюбием и правдолюбием, крепко держатся в седле власти — для этого их и кооптировали в правящую шайку. Они могут чем-то отличаться между собой, даже враждовать, – но они психологически одинаковы, поэтому катятся почти бессознательно, инстинктивно, в одну сторону, только иногда перебегая один другому дорожку, а дорожка эта – сохранение власти любой ценой. В этом единообразии грозная сила их, все же коллективного, органа управления – Политбюро. Самое страшное то, что меньше всего можно и от Политбюро, как целого, и от каждого его члена ожидать сбоя в основном вопросе – сохранении советской власти – **важнейшем вопросе как для России, так и для всего мира.**

Поступила в продажу книга Юрия Ветохина „Склонен к побегу“ (2-е издание) в мягкой обложке. Формат книги – большой, бумага – хорошая, шрифт – крупный. 49 иллюстраций, 545 страниц. Цена книги:

18 долларов вместе с пересылкой

Заказы направлять:

Mr. Yuriy Vetochin
P.O.Box 16084,
San Diego, Ca. 92116, USA

НАША СТРАНА

ОРГАН РУССКОЙ МОНАРХИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

еженедельная национальная газета
основанная в 1948 году И. Л. Солоневичем

Издатель М. В. Киреев. Редактирует редакционная коллегия.

Неподкупная, свободная от партийных или групповых влияний, потому что не зависит ни от каких и ничьих субсидий.

Незыблемо стоящая на трех исконных русских китах „За Веру, Царя и Отечество“.

Непосредственно связанная с молодыми единомышленниками отсюда, верящими в возрождение Самодержавия, как единственное спасение от любого партийного рабства.

Документально разоблачающая подвохи, происки и ложь врагов России и православной Церкви; врагов их прошлого, настоящего и будущего.

Дающая оценку мировым событиям, прошедшим и нынешним, в свете российских народных интересов.

Объединяющая на своих страницах талантливых публицистов, выдающихся знатоков литературы, экономики, истории, политики и военной науки.

У газеты нет других хозяев, кроме самих читателей.

Цена номера газеты, посылаемой воздушной почтой 0,80 ам. долл.

Почтовые переводы и чеки посылать:

Miguel Kireeff
Monroe 3579-11
1430 Buenos Aires, Argentina

О „БЕССТРАСТИИ ДУХА“

Мне хочется привести одно воспоминание, которое показывает, что самые разные люди могут иметь один язык. И одну правду.

Как-то в послевоенной Румынии, мне довелось провести лето в Карпатах, вдали от „цивилизации“. Моим „обществом“ были: массивы гор и, по вечерам, старик-пастух. У его костра мы сидели, на земле.

Старик был как лесная коряга, с заскорузлыми от работы руками, темным лицом в глубоких морщинах, и такую же жизнью позавиди.

В небе горели и переливались звезды. Они в горах особенно яркие. А еще – дождь метеоров. В августе они непрерывно падают, из созвездия Льва. Рядом – мерный говор горного ручья. И потрескивание дерева в огне. Ночная птица бесшумно скользит в темноту, и кажется, что это ты сам улетаешь, ночной тенью.

Когда звезды такие „живые“ и так „близко“, – чувство, что история твоей души и история мира – одно. А вечность почти уютна. И,

„...что нет обид судьбы, и сердца жгучей муки...

А жизни – нет конца...“

Так казалось и нам с дедом.

К концу третьего дня у нас уже не было секретов друг от друга. Два человека у одного огня. Но дед был челове-

ком-корнем. Я – обломком, веткой. И, как и тысячелетия назад, огонь был – тепло и жизнь. Дед угощал картошкой, печеной в золе, с крупной солью, которая пахла овцами. Я подарила ему флягу с ромом.

Мы были доброжелательны друг к другу. Каждый из нас признавал за другим право на жизнь. Право сидеть на этой земле, у этого костра.

Крестьяне расходуют слова так же скупое, как и деньги. Разговор струился „по земле“, о том, что нам было близко. Старик рассказал мне всю свою жизнь: как он батрачил, как купил быков, как женился. Как построил дом, как женил детей. И как, теперь, один на свете. Жизнь ясная, как небо над нами.

Ободренная, я тоже облегчила душу рассказом о жизни и о иных её обидах.

В Румынии, в разных её областях, – свои оттенки языка. И как-то дед сказал:

— Ты говоришь не так, как в наших краях. Откуда ты?

Откуда... Дед думал из Трансильвании, или из Молдовы? Я ответила не сразу. Послевоенный захват Румынии протащил страну сквозь кровь, смерть, голод и великое страдание. Страдала она тяжелее, чем во время турецких захватов. Глотала горькие слезы и ждала (и ждет!) избавления. Оттого чувства румын к „советским“ предельно однозначны. Я сказала:

— Дедушка, я же не румынка.

— Не румынка? А кто же ты?

— Русская.

Дед застыл, с поднятой рукой, и онемел, как будто увидел привидение. С десятков секунд длилось молчание. Наконец, он широко махнул рукой, каким-то „разрешающим“ движением, и сказал:

— Și totuși ești o femeie drăguță

Что в переводе значит: „И несмотря на это – ты хороший человек!“ Это был самый большой комплимент, какой мне когда-либо был сказан.

*

„Стань перед нами, душа, все равно, являешься ли ты божественной, вечной, как думают многие философы, или ты являешься, наоборот, смертной вещью, как думает Эпикур, в обоих случаях тебе нет причины лгать... Я обращаюсь к тебе не как к изрекающей премудрости, но... как к неученой, к такой, какой обладает тот, кто не имеет ничего кроме тебя, к душе обнаженной...“

Тертуллиан

Тот, кто плавал в океане, знает, какие феерические бывают там закаты. Облака образуют причудливейшие группы, окрашенные всеми цветами радуги. А на горизонте – полная иллюзия берега, и даже каких-то сказочных городов. Верхарн пишет о

„...Голконд гряде багряной...

...Когда лучи небес, нам чудится, звучат
Торжественным хоралом.“

Почти не верится, что тверди нет. Но гаснет солнце, и гаснет мираж.

Феерическими бывают и создания человеческой мысли. И тоже: нужно усилие, чтобы понять: тверди – нет.

Эстетически, читать Г. Померанца – наслаждение. Богатство образов, богатство языка, богатство мысли. Но, иногда, „гаснет солнце“, и все исчезает.

Г.Померанц уводит вас на неоглядные равнины рассуждений, горные кручи, в космические отдаления, пропасти и бездны. Воздух земной заменен „метафизическим“. И он не ищет в верхнем, плодородном слое земли, но бурлит в глубину, в вечную мерзлоту. Или уводит в „надзвездные края“. В туманность Андромеды. За пределы земных страстей. Какое значение может иметь всё, если – впереди зоны, и позади зоны... Был ледниковый период, и снова будет ледниковый период.

Мышление Г.Померанца центробежно, рассеивающе, энтропийно. В стремительно расширяющихся спиральных отдалениях, – в бездны, вечность, небытие. Кажется, что он в абстракции – как у себя дома (и единственно – у себя дома).

Но эквилибристика на высотах абстракции, в известных условиях, путь уводящих. На её высотах все безотносительно к нашим, земным категориям и представлениям.

Мысли Г.Померанца нужно „сгущать“, возвращать на землю. Кажется, иной раз, изумрудная, зовущая трава. А стань – топь. Может быть, небытие, в которое Г.Померанц почти приглашает, и соответствует желанию отдельных. Но такое приглашение для всех – неправомерно. Но и здесь: Г.Померанц хочет быть драматическим, но остается только риторическим.

Пути философа – индивидуальны, обособленны. Это всегда пути великого одиночества. Оттого коммуникации прерываются, как только Г.Померанц начинает говорить от лица общности людей. Народ – на земле, от земли, с землей.

Интеллигенты творят от слов слишком много легкокрылых дериватов, в которых постепенно тонет и само слово, с его коренным, питающимся соками земли, смыслом. Этот процесс энтропиен, в противоположность гению греков, сливавшему слова в соединения, монолиты смыслов, соединяющих небо и землю. Какие это были веские, светлые слова, лучащиеся внутренним светом. Всепричина. Благобытие... В небытии же – благости нет.

*

Мы субъективны, односторонни. „И... это станет ясно, если проникнуть вглубь китайского, вглубь индийского духа, и поставить рядом несколько соборных культур...“ Но нужны ли столь титанические усилия, чтобы установить многообразие мира? Ведь даже универсальная религия христианства разными народами была воспринята по-разному, в соответствии с их характером, миропониманием.

„Субъективность – вскрик, с которого мы не требуем справедливости, не требуем строгости суждений.“ Нет, почему же?.. Характеризуя Паскаля, чья высота, как исследователя, и по сей день считается непревзойденной, Романо Гуардини пишет, что отличала его „страсть к различению и воля к выводу“. И на самом деле: без этих качеств – не может быть исследования.

А.Солженицын кричит: о миллионах слезинок миллионов замученных детей.

Г.Померанц говорит, бесстрастно: „Все наши страсти – ничто, в сравнении с верховным переживанием живой вечности“. И принцип этот представляется не только как метод познания, но и переделки действительности. (То есть: сидеть и ждать терпеливо, пока все дети боль смерти выкричат и затихнут?)

Г.Померанц пишет об облагораживающем и возвышающем страдании. Прочтите еще раз сотни страниц „Архипелага ГУЛАГ“. Чтоб реальней себе представить: **что и как** чувствовали все те люди. Не кощунственно ли, на такие физические и духовные, совершенно раздавливающие, до страшной, обезличенной гибели, страдания, – надевать маскарадную мишуру? Не оскорбление ли это памяти миллионов?

Странно звучит: „Если всем дорога в золу? Пусть. Мы жили так, чтобы открыть ворота будущему (???), но не ради будущего, а ради бытия, ради вечного 'теперь', и если оно действительно было у нас, – никакая история его у нас не отнимет“. Рассуждение – крайне путанное, туманное, разнопереводимое.

Вообще же, употребление риторики, как средства утверждения истины – это техника адвокатская. У философского языка широкие возможности. По знаменитому рецепту Мефистофеля:

„Den eben wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“

(„Когда отсутствуют идеи, – их во время заменяют услужливыми словами.“) Красота истины – истина красоты.. „Символ как понятие – понятие как символ...“ Но,

образованные по таким моделям, формулы для решения практических задач, могут оказаться оборотнями...

*

Тема художника, писателя, философа – его одиночество. (Прекрасно у Померанца о ком-то: „...эмигрировал, мистически, в мир своих видений...“). И, кроме того, ставит ли он себе это задачей, или нет, – „Исповедь сына века“.

Ведь, как чудесно писал раньше Г.Померанц: „Ах, если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться чистым куском хлеба, без икры“. Мы знали Г.Померанца иным, в его прежних работах.

Пиетет. Перед звездами первой величины. Но, вот то, что Г.Померанц пишет в последнее время, ставит его „по другую сторону баррикады“. И, пожалуй, заблуждения на такой интеллектуальной высоте (и у такого типа людей) – самые страшные. Потому что – неожиданны. И пиетет (саморазоружение) отступает перед чувством: красный свет!

Сейчас речь идет о цикле статей, помещенных последовательно в четырех номерах журнала «Страна и мир» – „Страстная односторонность и бесстрастие духа“.

Странное впечатление: не то – разреженного воздуха, не то – словно течет по тебе ручей, а ты остаешься сухим. Как на сеансе иллюзиониста! Вот он снимает шляпу и из нее вылетает стая голубей. Они растворяются в воздухе. Были? Не были? Потом он снимает перчатки и сжимает их между ладонями. Они делаются все меньше. Наконец, исчезают совсем. Одна иллюзия сменяет другую.

*

„Мы врем лично, и врем соборно...“ „Главное – не сходиться с благородной дороги“ (В чем же она?). И дальше,

совершенно поразительное! („может показаться читателю странным, и даже циничным...“) – „...предмет спора – не самое важное. Важнее тон.“

Содержание приносится в жертву форме...

*

„Ибо ни огонь не может охлаждать, ни
добро происходить от недоброго.“
(Псевдо-Дионисий Ареопагит)

Употребим, как критерий разбора, „страсть к различению и волю к выводу“. У Паскаля же встречается и выражение: „Принципы заблуждения“. На наш взгляд, в основе их у Г.Померанца – его „формула истины“. Первая же фраза статьи, как знамя: „Я глубоко убежден, что никакой единой формулы истины нет. Есть иконы, но формулы нет... У каждого своя иерархия ценностей“.

Действительно, и у Паскаля, в главе „Обманные силы“ („Pensées“), убедительно и подробно, об относительности нашего разума и чувств. (Не ставя саму истину под вопрос). И Паскаль предостерегает от учителей: „Я говорю не о глупцах, но о мудрейших: именно у них выявляется большая способность воображения переубеждать людей. Рассудку хорошо говорить: он не может определять цену вещей“. Субъективность – у Паскаля критерий исследования. Но не постулат интеллектуальной честности.

Если допустить бесконечное количество „формул“, как утверждает Г.Померанц, тогда это – все, что угодно, только не истина! Утверждение же, что „у каждого своя иерархия ценностей“, не выдерживает никакой критики. Если бы у нас не было иерархии ценностей о б щ е й, мы не могли бы быть обществом людей. И слова э т и к а – не существовало бы. Если бы не было общеутвержденных этических мерок, не была бы возможна жизнь общества. Ведь мы живем и не в каменном веке, и не в джунглях, живущих по закону: кто кого. В обществе, где

существуют общечеловеческие ценности, мораль, человеческие законы и нравственность, должны быть, соответствующие всему этому и „формулы истин“.

Понятие истинного в этическом, моральном смысле, – извечно. Есть несомненное добро и несомненное зло!

„Благо происходит из единой и всеобщей Причины, зло же – из многочисленных и частичных недостатков“. И это зло „не творит никакой сущности бытия, а только портит и разрушает само по себе основание.“ (Псевдо-Дионисий Ареопагит)

Но вернемся к формуле Г.Померанца. Вопреки его утверждению, у истины нет вариантов. Предположим, что мы так же далеки от нее, как и те, кого мы критикуем. Предположим, даже, что человек вообще не в силах **выразить** истины (как и вообще ничего, по разбивающему в щепы всяческую философию Виттгенштейну, который абсолютизировал бессилие человеческого языка что-либо выразить. Логика – тевтологична, всякое определение лишено смысла; он кончает свой труд так: „О чем нельзя говорить, о том нужно молчать.“ Интересно, при этом, что здесь Виттгенштейн соприкасается с мистиками, всех оттенков, от индусских до немецких.) Но ведь даже и тогда, внутренний нравственный импульс подскажет оценку. И вот есть еще непреложности: огонь обжигает, оставляет раны. Это оставляет опыт ощущения, познания. Сегодня мы – обожжены. Раны глубоки. И много смертельных. Это и побуждает, в отчаянии, судить о случившемся. И складывать миллионы мнений – простой арифметикой. И искать общую всем истину решений

Но именно в этой области хотят избавиться от истин. Благороден ли этот путь?

Солженицын говорит: рассматривать общественные явления „в категориях индивидуальной душевной жизни“. До крайности ясно, просто – как дыхание.

„Оружие“ Солженицына – глубокая простота евангельских притч.

„Оружие“ Г.Померанца – от „вершины созерцания“ до „бездны, перед которой меркнет разум“.

„Истины, единой, нет“. Как удобно! (Но и как не ново!). Без сознания, что есть вечные ценности, которые нельзя ставить под вопрос, не жизнь, а „форма существования...“

На основе непреходящих ценностей, может быть построен сознательный **путь**. Вне таких основ – только **траектория**.

Один из дериватов таких истин – **совесть**. Которой совсем не может быть в мире, где „все врут“.

Мне кажется, рай – не место, а **состояние**. Так и истина живет в нас моральным чувством, совестью, как свое собственное эхо. И от способности нашей души звучать с нею в унисон и зависит степень нашей приобщенности к ней.

Испокон веков, русский человек ищет больше мирозерцания, чем знания.

Г.Померанц совершенно ошибочно формулирует: „У каждого – своя истина“. Нет, у каждого – свое **отношение** к истине! И именно это и “сортирует“ людей.

А вот – именно „из глубины индийского духа“, к которому Г. Померанц апеллирует в обосновании того, что „мы врем лично и врем соборно“: „Истина – не теория, не философское размышление, не знание рассудка, Истина – точное подобие действительности. Для человека истина равнозначна познанию своей истинной природы и своей души.“ (Парамаханса Йогананда). Значит, чтобы не врать, надо только правильно видеть себя. И то, что вокруг нас. Открыть глаза и душу.

Человек народа ищет, в повседневной жизни, не формулы истины, но правду; не догматы, но свободу. Однако не свободу искуителя-философа, но простую и понятную свободу жить и дышать.

Г.Померанц ищет „...истины, плавающей над страстями...“

Но могут ли помочь такие надземные истины нам, в жгучих наших жизненных проблемах?

„Есть истины, утверждаемые сердцем, – не битвой догматов“, признает Г.Померанц в доброе мгновение, когда он спускается со своих высот на землю. Но ведь именно истины, предлагаемые Солженицыным, и есть истины, которые „видятся сердцем“, сердцем утверждаются. К этим истинам зовет Солженицын людей.

„И как можно людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало-теплые голоса... слышим их естественные заботы... видим их живые готовые лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки... наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, – и как же им всем запретить будущее?“

„...народ в массе своей не участвует в казенной лжи, и это главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его.“ (А.Солженицын)

Что же касается „ощущения живой вечности“ в смиренной рубашке, то об этом нам хорошо рассказано в недавно вышедшей книге Юрия Ветохина „Склонен к побегу“.

Не нужно – „высшей, **сверхобъективной** истины“: нужна простая, земная правда. Не нужно „высшего бесстрастия духа“: довольно и чистой совести.

Объекты критики Г.Померанца – национализм, православие. Кроме того, он обеляет марксистскую идею. Идея – не виновата.

В какой мере философ не несет ответственности за предлагаемые рецепты? Особенно, если он вторгается в такую заповедно-тонкую область, как добро и зло? Позиция Померанца не только примиренческая, но активно-разоружительная. С высших позиций „духа и разума“. Надмирные философствования Г.Померанца отводят в сторону от самых жгучих, страшных проблем современности.

*

Соблазн компромисса владеет Г.Померанцем. Он преподносит успокоительную достоверность: идея не виновата. Какое полезное обнаружение!

„Не знаю в какой мере Маркс отвечает за сталинизм.“

„Злодействовала не идея...“

Прибавить сюда нечего. В удивлении читаешь и перечитываешь. Кроме того, совет: „...другое прочтение Фурье, Сен-Симона и Маркса.“

„Воз пряников в рот людской“, – как поняла четырехлетняя девочка слова „Интернационала“, у Корнея Чуковского.

Противно, как картина „Утро нашей родины“. Впереди, на полкартины, Сталин. А за ним, залитые немеркнущим светом счастья, просторы России.

Всякая утопия вне истории. „Носители абсолютного добра“ постарались её в историю втиснуть. А доброжелатели вытаскивают из мусора вновь на свет Божий.

„Освобождение“ и „осчастливливание“ народов происходит всюду одинаково. Как по нотам разыгрывается. А точные **рецепты** содержатся у Маркса, известного своим человеколюбием („человеческий мусор“, „псы“, „плебеи“, „дряни“ и т.д.)

Весело рассыпались камни храмов Лхассы под ударами кулаков культурных революционеров... Так же, как и камни наших церквей.

В одной из статей одного автора-третьеволновика есть замечание, написанное „как бы в терцию“: „В бой шли за власть Советов, но как один умирали в борьбе за некое ЭТО...“ **С о в е р ш е н н о** ошибочно! В бой шли **тоже за это, за это самое!** Вовсе не таинственное, а то самое „ЭТО“! Другого – нет!

Добреющие коммунистические идеи напоминают термин Солженицына – „тигроголуби“. („Правда, раскаявшиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории, как и тигроголубей“).

Г.Померанц пишет об „иконах“ и „мощах“. Но вот, втихомолку, сам припадает к мощам из мощей! Но Дракон может быть только драконом, и ни при каких условиях не

может стать вегетарианцем, на что уповает Г.Померанц.

„Да воскреснет канон, и да расточатся врази его!“ – громко иронизирует он по поводу „косности“ эмиграции в области религии. Да и искусства...

И, под сурдинку: „Да воскреснет идея, и да расточатся врази её...“

„Стратегия гуманизирования“ у Г.Померанца – борьба за **исконные вольности...**

„На болотную топь: 'Что за очаровательная лужайка'!, на бетонные шейные колодки: 'Какое утонченное ожерелье!'“

Но это же – там... Мы-то, з д е с ь, знали – почем фунт лиха?

„Можно сохранить широту интеллектуального кругозора до 180°... твердо идти своим духовным путем, решать лично свою духовную задачу“. Маленькая неточность: решается не „лично своя“ духовная задача; но задача целых народов. Если бы Г.Померанц решал только „лично свою духовную задачу“, кто бы мог на это что-либо возражать?

И как полемически-„изящно“ ставит Г.Померанц рядом: „Принято наготу прикрывать каким-нибудь „измом“... Ну, хоть коммунизмом или православизмом“.

„Но мне все равно, марксизм, православизм или структурализм...Эссеистическая мысль – незащищенная, голая.“

Что-то напоминает: „...пльиви, моя ладья, / и Господа, и дьявола / равно прославлю я.“

Всю нашу жизнь нас опутывала липкая, гадкая паутина лжи. И каждой фиброй существа хочется избавиться от этой лжи.

А Г.Померанц советует „остановиться на том, что имеем“. Здесь он вполне солидарен с авторшей-третьеволовничкой, которая написала: „То, что для чеха, поляка, эстонца – худшая форма тоталитаризма, – для значительной части российского населения является своего рода стихийной демократией, адекватной его правовому сознанию, социальным нуждам и исторической традиции.“

И совершенно ошибочно противопоставляет Г.Померанц антимарксизм Гитлера и марксизм Сталина. Оба – явления одного порядка. Россия же, в прямом смысле, была колонизирована коммунистами, именно так, как это позже намеревался сделать Гитлер, в его варианте. Непосредственно после 1917 года, при жесточайшем сопротивлении народа. Тогда-то и возник „Архипелаг ГУЛАГ“.

История подарила человечеству одновременность этих феноменов: для сравнительного уразумения, общего отпора. Почему-то любят забывать, что национал-социализм был течением левым!

Если урок не усваивается, ученик проваливается на экзамене. Пенять – на себя. Гитлер ведь только узурпировал и идею, и практику. Через шесть недель после начала войны он сказал: „Что касается смехотворной сотни миллионов славян, то лучших среди них мы превратим в то, во что нам хочется, а остальных изолируем в их свинарниках.“

9-го августа 1941 г. он очертил совершенно определенно, как будет выглядеть восток Европы: „Немецкие колонисты должны жить на красивых, обширных фермах. Немецкие учреждения будут размещаться в великолепных зданиях, губернаторы – во дворцах. Вокруг городов мы создадим, в радиусе от 30 до 40 километров, пояса красивых деревень, соединенных прекрасными дорогами. За пределами этого пространства будет другой мир...“

Не бросается ли в глаза, поразительное сходство неудавшейся теории с удавшейся практикой? Г.Померанца подобная „практика действительной жизни“ и не занимает и не трогает. Ему важен не предмет спора. Но – тон.

Излюбленная тема Г.Померанца, в последнее время, диалектика вырождения добра в зло. Таковая, действительно, действует в утопизме, впрочем, при практическом отсутствии добра. Добро здесь всегда только ожидается. Утопические теории заразили ожиданием „светлого будущего“, без каких-либо гарантий или обоснованностей, впрочем. А человечество показало и показывает

трагическое отсутствие иммунитета против этой болезни.

Г.Померанц, не замечая своей увлеченности словом, и хромающей логики, заявляет (**шедевр!**), что и коммунизм, и антифашизм „сатанеют о д и н а к о в о“.

Когда-то Г.Померанц уже писал („Человек без прилагательного“), что ни русский народ, ни его интеллигенция, непригодны для борьбы за свободу. Что герой, борющийся с деспотизмом, ставит себя выше права, выше обывательской нравственности... и тяготеет к топору палача! Этот вираж логики владеет Г.Померанцем.

Так-таки: все герои? Что герой вообще, по природе своей, выше обывателя, – это ясно. Но, при чем топор? У Робеспьера – да. Но ведь он представлял утопию. И именно борьбе с этой утопией посвящена вся земная жизнь Солженицына! Впрочем, и жизнь в веках, тоже. И главный упор в этой борьбе, ставит Солженицын именно в план нравственности. Пораженный ужасом сотворенного и творимого в мире, он рассекает зло, от его грибоподобного цветения в „апофеозе“ в виде облаков-грибов атомных бомб, до отравленных грибов зла в душе каждого человека. „Разделительная линия добра и зла – проходит не между странами, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми... Она пересекает сердце каждого человека...“

В программе нравственной жизни, нравственной политики, предлагаемой Солженицыным, места для „диалектики“ Г.Померанца нет.

Если принимать такую программу душой, а не „бесстрастием духа“, то она переводится в сердце словами Ефрема Сирина: „Дух же терпения и любви даруй ми...“

Спасти мир может одно: целеустремленная индукция, цепная реакция духа, противостоящая смерти. Бесстрастие же духа – „без руля и без ветрил“...

Если бы Г.Померанц писал свои афоризмы только для себя, было бы его дело. Но он ставит себя в положение гуру. И проповедь его – смертельно опасна.

Прудон писал Марксу: „Дорогой господин Маркс, я уважаю Вас и восхищаюсь Вами, но от Ваших идей мне страшно становится за человеческую свободу“.

Солженицын пишет: „Самые страшные злодеи Шекспира убивают не более десяти людей, ибо у них нет идеологии.“

*

„Как бездарны и мелочны реакции на Солженицына“, – писал Жак Даниель, редактор еженедельника (левого, но не коммунистического) «Le nouvel observateur». Морис Клавель (тот же журнал) – говорит об аргументах оппонентов Солженицына, что их не следует повторять: „Не для того, чтобы их замолчать, но для того, чтобы спасти их от приговора к позорному столбу. И это относится, в первую очередь, не столько к коммунистам, сколько к писателям-интеллигентам, подделывающимся к ним. Именно они войдут в бессмертие вместе с Солженицыным, как вошел в него Зоил вместе с Гомером“.

*

Конечно, есть в статье и Иван Грозный. Он сегодня играет роль „принудительной нагрузки“, как залежавшийся товар.

„Как в одной душе уместились Иван Грозный и Андрей Рублев?“

Как известно, русская душа – всевмещающая. На этом голливудские режиссеры сделали немало денег. Прямо золотые россыпи для „искусства“.

„Связь Мутьянского воеводы со сталинскими следователями – факт.“ Один только вопрос: А – с ленинскими? А – до 1937-го года?

Ведь не может же такой всеведущий человек, как Г.Померанц, с его знаниям всей истории, не знать, что история всех народов полна кровавой жестокости.

Взятие Иерихона Иисусом Навиным: „...И они взяли город, и убили всех, кто был в Иерихоне – мужчин, женщин и детей, стариков, быков, овец и ослов...”

Варфоломеевская ночь... Крестовые походы детей, с их леденящими кровь подробностями, когда продали в рабство десятки тысяч детей, участников похода... Подобное – немыслимо было бы в России!

„Похвальное слово палачу“ у Жозефа де Местра, тоже небезинтересно... Казнь Дамьена... И последнее произошло в эпоху Вольтера... Просветителей... „Свобода, равенство и братство!“ А впрочем, именно, показательно!

Дамьен в январе 1757 года совершил покушение на жизнь Людовика XV-го. Но только слегка поранил ему лицо. Он был присужден к казни, такой же, какую „заслужил“ в 1610 году убийца Генриха IV-го. Казнь произошла, вернее началась, утром 28 марта. Осужденному рвали тело раскаленными щипцами и поливали растопленным свинцом, горячей смолой и кипящим маслом. В полдень, когда казнимый слегка „отдохнул“, казнь продолжили. Была она публичной, как и всегда во Франции. Со всех сторон стекались зрители: весь Париж, крестьяне, иностранцы. В окнах – разряженная, нарядная знать и придворные дамы, играющие веерами и флакончиками с нюхательными солями, на случай обморока.

На площади ожидали отцы-исповедники, лошади и палачи, под руководством главного, потомственного палача Самсона. Шестеро из них связали Дамьена, обуглили ему правую руку над огнем, вырывали ему куски из тела, и снова поливали раны свинцом и маслом.

У казнимого, от ужаса и страдания, волосы встали на голове.

Тогда, за руки и за ноги, его привязали к четырем лошадям, которых гнали в разные стороны. Несчастный был такого крепкого сложения, что больше часа пришлось хлестать лошадей, и – напрасно.

Все это время Дамьен непрерывно кричал. Он целовал Распятие, которое подставлял ему священник...

Сделали надрезы в бедрах. Лошади снова потянули. Левая нога оторвалась. Народ – аплодировал: наконец! Потом, и правая нога...

Человек жил. И – кричал. Надрезали и руки. Были вырваны и они. Тогда увидели: у Дамьена **побелели волосы**. Тело корчилося. Потом настал конец. Четвертование длилось два часа.

Многие историки культуры выводят заключение: жестокость французского характера. Но кто знаком с казнью Beatrice Cenci, или сожжением „ведьм“, во всех европейских странах, кто не забыл ужасы тридцатилетней войны, задумается.

В Европе – не только танцевали менуэт...

„Как в одной душе уживается Иван Грозный и Андрей Рублев?“

Как в одной стране могли существовать Паскаль и палачи Дамьена? Но мы все-таки, не помещаем их в „о д н у д у ш у“ как Г.Померанц. Прием его „бесстрастного духа“... А Дамьен жил спустя сто лет после Паскаля!

Иванов Грозных в Европе было хоть пруд-пруди. Во все времена.

Так не вернее было ли бы – „снять с повестки дня“ Ивана Грозного и вместо того, с ужасом и отвращением, вспомнить всех иванов грозных, во всем мире. Вспомнить, чтобы содрогнуться и перед историей, и перед жестокостью вообще.

*

А откуда, после справедливого русского суда по совести, пришел инквизиторский суд вышинских. Любопытную выдержку из „Руководства для инквизиторов“ приводит В.Варшавский в своем труде „Родословная большевизма“: „Главная конечная цель судопроизводства и смертного приговора не в спасении души обвиняемого, а в том, чтобы обеспечить общественное благо и **терроризировать население**“.

Ни татары, ни славяне – инквизиции не имели. Ну, как не восхищаться Чаадаевым всем чернителям России! Если он писал: „Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода“. „Мы равнодушны к добру и злу, к истине и лжи“. „Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины“. „Мы составляем пробел в нравственном миропорядке“.

Вот, от него и пошло. Народ рабов... Традиционная подлость... Россия – сука.

А принес он свои „патриотические“ убеждения из долгого путешествия по Европе. Там-то он и познакомился со всем накопленным там уже подобным материалом. Все это там хранилось в анналах, еще со времен католических нашествий на Россию. Здесь Чаадаев тоже придерживается „буквы закона“ – для России необходим католицизм.

*

Верит ли Г.Померанц серьезно, что культуру можно „мумифицировать“? Не является ли то, о чем он пишет горестно, защитным процессом, обратным **политизации** культуры, которой была она осчастливлена вот уже три четверти века? Отсюда и „катакомбы, пустыни, пещеры...“

Что же касается эмиграции, то справедливость требует сказать, что ею была проделана **огромная** культурная работа. И это, в то время, когда в свободном мире – „на печи лежали“. И работа, во многом жертвенная. Существование первой эмиграции было очень горьким, не в пример „третьеволовникам“. Было „незамеченное поколение“, и в нем было очень много истинных талантов, с которыми „таланты“, „третьей волны“, не идут ни в какое сравнение. Были люди великого мужества и чистоты убеждений, как осужденный на смерть Борис Вильде, стойкостью и чистотой которого, восхищался даже нацистский следователь. Такие люди, как он, Мать Мария, Фондаминский, и сколько их, – честь для России. Потому, что в них дух России.

И как удобно сейчас Г.Померанцу припечатывать штампами. „Церковные дворики“, „иконы“, плюс – тупоумие, конечно: не в силах понять...его, Терца.

„Своя лестница в свой рай“, „нетленные мощи“, „живые мумии“, „мумификация русской культуры“...

Что касается собственно культуры, то только будущее покажет, насколько эмиграция способствовала её сохранить. В книге Р.Гуля „Я унес Россию“ даются перечни изданий, списки, имена. Трудно даже представить себе такую активность. А по количеству – просто млечный путь!

Да нельзя и забывать, что в эмиграции оказался весь цвет русской культуры. Её, элита духовная.

„С религиозной точки зрения – русская диаспора не претендует на новшество.“ И зачем бы?

„Сплотившись вокруг православной церкви, найдя в церкви единственный кусок почвы, который можно было унести на своих подошвах, эмигранты пытались пересадить на ту же почву, в тот же церковный дворик, все святыни своей культуры. Нечто аналогичное испытали и внутренние эмигранты“.

Что же здесь плохого? Разве и на самом деле Россия не в сердце? И Русь – не Христова?

И если Г.Померанц чувствует «привкус двухтысячелетнего обещания: „на следующий год – в Иерусалиме!“», то почему ставится в вину русской эмиграции, что она не выдумала ничего оригинальнее, чем сохранить веру отцов и церковь? И сохранить святыни, не окуная их в грязь.

Что ж... Если наши национальные гении и святыни для нас, – то это и понятно.

А икона (чуть ли не бранное слово стало, у Г.Померанца), всегда была световым образом, на границе вещного. Не пристало её „модернизировать“.

„Мумификация“... А может быть это было свечей Страстного Четверга, которую эмиграция сумела сохранить?

И была первая эмиграция, в массе своей, конечно – Россия...

Уделяет внимание Г.Померанц образу Твардовского у Солженицына.

Важно не то, нравится ли нам, или не нравится портрет Твардовского, как он написан Солженицыным. Отдельными мазками, отдельными гранями, когда видишь все время резко-противоречивое. Важно то, что он „бессмертно-живой“ и несет на себе всю „нагрузку“ (как теперь модно говорить) эпохи. Всей его эпохи. Нагрузку психологическую. Он показан Солженицыным с великой любовью, выписан. Его видишь, чувствуешь, любишь, принимаешь и не принимаешь, оплакиваешь. Он ощутим во всем – от детских ясных глаз, до дрожания парализованной руки...

Его оплакиваешь вместе с Солженицыным.

Но Г.Померанц ошибается, говоря: „Одна характеристика исключает другую.“ В том-то и дело, что не исключает. И в этом трагедия. Это не только портрет человека, но портрет целой эпохи. И в этом сила таланта Солженицына.

Особо стоит тема А.Синявского. Г.Померанц определяет, что у него и у Синявского сходная судьба: „Анафема!“

Минуя это образное выражение, скажем, что неприятие их сегодняшних позиций – от другого. Определим это фразой из статьи А.Синявского о Евтушенко „В защиту пирамиды“. „Много, видать, изменилось с тех пор, когда поэт не держал втайне, на каком он сосредоточился фланге“.

Можно иметь кругозор в 180°, (так определяет себе Г.Померанц). Но он делается непонятным, когда приближается к 360-ти. Включая, так сказать, „антиподов“. Делаются непонятны ни содержание, ни цель.

И еще написал Синявский тогда о Евтушенко: „...За ним не хочется идти: он способен завести нивесть куда“. Сегодня Синявский пишет не так и не то, как раньше.

Но он – не оригинален. И даже, не новатор. Сегодня, так, как пишет он, пишут все из его лагеря. Это – мода. Течение. А плыть по течению легко и приятно. Кроме того, дает иллюзию скорости и того, что ты хороший пловец.

Сама тема **Пушкина** стала чем-то вроде ветряной оспы. Или, как у Фалалея: „сном про белого быка“. Нельзя даже и представить уважающего себя литератора, сегодня, который не увековечил бы себя исследованием о Пушкине. Немного разнятся только мотивы.

Мотивы А.Синявского, может быть, глубже, потому что они личностного характера, результат некоей органической расщепленности в его психологии. У него, действительно, любовь перемешана с ненавистью (в разных пропорциях).

Вплоть до болезненности. Когда читаешь все его „эксхумации“, приходит на память неприятный рассказ Эдгара По о том, как некто разрыл могилу своей невесты, чтобы вырвать у нее все зубы...

Г.Померанц пишет, что у Синявского – „сверхлогическая бездна, где смутно мерцает целое“. Прибавляя, что в случае эксцессов, всегда можно сделать акцент „на другой координате“. Но Синявский только Пигмалион-любитель. Для настоящего демона – злодейства недостаточно. А и в добрые волшебники его тоже не запишешь, из тех о ком Пушкин, так светло:

„Я каждый день, восстав от сна
Благодарю сердечно Бога,
За то, что в наши времена
Волшебников – не так уж много.“

Синявский – фигура трагическая. Двойственность Синявского несомненна. В нем живет органическая любовь к литературе, глубокое её чувство. Талант. Но и ухарство охульника. Чем руководствуется человек, который „по движению нутра“ мажет ворота дегтем?

Может быть, однако, что это много глубже и душевно, и психологически. Иногда кажется, что в Синявском

борются Ормузд и Ариман. Намеки проскальзывали уже и у раннего Синявского. В той же статье о Евтушенко, он, говоря о Есенине, подчеркнуто-любовно цитирует:

„Но раз черти в душе гнездились,

Значит ангелы жили в ней...“

Попробуем „перенести акцент“, как пишет Г.Померанц. Синявский ведь не модернист, хотя и разрушает. А что приписывает ему Г.Померанц – решения психологических задач на глубинах Юнга...

Что у Синявского поистине поражает, – это диссонансы. Он разорван между гармонией и какофонией, между божественным и дьявольским. И он „просто“ поворачивается к нам разными своими сторонами. Если к подобному можно применить слово „просто“.

Исключительная его одаренность почти завораживает, от него всегда чего-то ждешь. С ним связана надежда.

Может быть, разгадка Синявского (потому что он загадочен), в том, что он, несмотря на все, идеалист. Кто-то сказал (выражение избитое, но истины – всегда старые): „Циники – разочарованные романтики“.

Как всякий, связанный, если и по касательной, с магизмом, Синявский ведет двойную жизнь: явную и тайную, „дневную“ и „ночную“.

Г.Померанц (замечание очень верное) пишет: „Демон превратности, искушавший Бодлера и Ницше... приходил и к Синявскому-Терцу.“ Действительно, Ницше был психологом „заднего плана“, сокрытого, бессознательного. Мастером открывать заблуждения и страсти за всеми идолами людей. Ни одна философия, как его, так не разрушала, не создавая, и не провозглашала, не доказывая. И парадоксально, что Ницше осуществил поворот от метафизики („...И ничего кроме!“), но и какие же бездны пессимизма он отверз!

Можно принимать талант Синявского, и не принимать „самого“ Синявского.

В человеке живет что-то несоизмеримое с тем, что он сам о себе знает.

В Синявском живут два разных человека. И не исключено, что когда-нибудь один из них „убьет“ другого.

Как писала Марина Цветаева о Маяковском: „Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни“.

*

„Писатель – не учитель нравственности“, пишет Г.Померанц. И, что „...дело Синявского – бить посуду...“ Хорошо бы, если бы – свою!

Померанц хочет п о н я т ь Белинкова, Терца. („Ничтожное общество рабов“, „беспросветная... неизменная при всех обстоятельствах, традиционная подлость русского интеллигентного общества“). Удивляется, что не могут принять (и понять!) „Россию-суку“ Синявского. Что не хотят видеть любви, заложенной в этих словах...

Понять-то можно, ведь не ново все это. Мысли, рода белинковских, блистали уже у Чаадаева, он привез их, в качестве сувениров, из Европы.

Проф. Н.Ульянов пишет о восторгах Герцена в отношении Чаадаева, о „мести Брута за выстраданное проклятие“, говоря: „За кем только ни признавалось у нас это право на месть!“

Понять можно. Забыть трудно.

Но – эпигонство. Еще сто лет назад, остроумец Писарев в том же тоне выступал... Плавал Брюсов, в своей „свободной ладье“, прославляя „и Господа, и дьявола“, были „приветственные гимны“, была и оплакиваемая Волошиным „проплеванная Россия“, которую как падаль, вытащили на площадь. Был Демьян Бедный (Ефим Лакеевич Придворов), который „только хрюкнул на Христа“...

*

„Людей с остановившимся умом... раздражает... то, что некоторые называют манерностью и извращенностью фразы... и что, м.б., граничит и с тем, и с другим, но есть, прежде всего, (?) внутренняя свобода“. В силу которой,

как пишет Г.Померанц, Синявскому нравится двигаться не так, как другим, а „поперек и в сторону“.

Мы знали раннего Синявского. Мы восхищались им, переписывали его статьи от руки. Но вдруг, у нас „остановился ум!“.

„Терц нетерпим, потому что Гоголь воспринимается им через призму гоголевской роли в советской идеологии“. Так об этом не довольно ли уж постаралась сама советская идеология?

„Надо было бы обособить – эти два предмета – собственно Гоголя, и его советскую тень.“ Да, действительно. Как – надо бы! Р а з д е л и т ь, рожденных А.Синявским, „сиамских близнецов“! Гоголь все-таки не виноват, что он стал „кариатидой сталинского идеологического фасада“.

„Синявский плюнул на кариатиду, – а судят за оскорбление иконы“. „Для эмигрантов, – пишет Г.Померанц, – чудовищно уже то, что Синявский-Терц вообще склонен к кощунству...“

Да, действительно. Эта „тональность“ – мало мелодична. И что касается хорошего вкуса, то некоторую роль он в искусстве, все же играет.

Сетует в связи с Пушкиным: „Канонизируется победа святого, пророка, вестника над бесами, а не уступки его бесам“. А Г.Померанц хотел бы наоборот?

Пробует объяснить Синявского так: „у него постоянная потребность высунуть язык хрустальному зданию“. Да, иной раз действительно кажется, что Синявский ищет „успеха возмущения“, и наплыва репортеров. Как сейчас на Западе мода: один с топором ходит, другой – шляпы всю жизнь не снимает (впрочем, это кажется художник один и тот же).

Оставим на совести Г.Померанца утверждение, что „с Гоголя можно спросить за... соцреализм“! Но вот, в связи с мнением относительно того, что „писатель – не учитель нравственности“, надо сказать, что в таком случае, всю русскую классику надо просто выбросить. И вот уже две трети века – проходили писатели в учителях безнравственности. Не довольно ли?

*

„Гавриилиада“ и „Когда для смертного умолкнет шумный день“, или „Погасло дневное светило“ – писала одна рука. Но – не один человек. Кроме того, известно, что сам Пушкин „Гавриилиады“ стыдился. Какого из этих двух людей храним мы благодарной памятью – это дело вкуса. И потребностей.

Как Иван Денисович, рыбьего глаза – не ел... Брезговал.

*

„Прогулки“ возненавидели не потому, что они спорны, а как-раз за то, что в них бесспорно, за непристойную правду... Бронзовый Пушкин забыл „Гавриилиаду“. Он помнит только то, на что благословил его Державин:

„Служенье муз не терпит суеты,

Прекрасное должно быть величаво.“

Самого Г.Померанца восхищает именно „истина непристойности“.

Вспоминается, в связи с этим, как в 30-х годах в Советском Союзе внезапно вспыхнула эпидемия увлечения античным искусством. В форме гипсовых статуй. Какие-то предприимчивые „худартелы“, типа тех, что изготавливали бюсты Сталина, „протолкнули“ это культурное мероприятие. В результате: все городские парки в рекордное время украсились густо статуями Аполлонов, Венер и т.п. Из гипса, в натуральную величину.

„Непристойную их правду“ немедленно заметили и оценили хулиганы, и разукрасили эти гипсовые шедевры всем, чего, по их мнению, тем не доставало, с комментариями. Статуи регулярно отскабливали, некоторые же пришлось просто убрать.

*

Как известно, разбор творчества Гоголя в плане демонизма сделал уже Бердяев. Но, при этом, обошелся без амикошонства. Померанц пишет: „Гоголь – живой себе

седник Терца, и отношения между ними (!) так же противоречивы, как это часто бывает в жизни“. Казалось бы, можно было бы ограничиться отношением Синявского к Гоголю. Об отношении же Гоголя к Синявскому, можно строить только предположения.

*

Так ли нужны, для национальных гениев (которых и вообще-то – раз, два – и обчелся!) – эксхумации в прозекторской, „замешанные“ на кощунстве? Никакой талант их авторов не может сделать их привлекательными. Разве что, для ненавистника, или для тех, о которых Лермонтов писал: „...свободы, гения и славы палачи...“

Вот – отзыв **немца** о Пушкине: „Пушкин – русский, более гармонически настроенный, чем Гёте, а в своем внутреннем спокойствии и светлой, преображенной эстетике более близкий грекам, нежели творец «Фауста».“ (Вальтер Шубарт).

Вспомним и очень глубокую мысль Льва Шестова о Гоголе: „Не в одной России Гоголь увидел мертвые души. Весь мир представился ему замороженным царством; все люди – великие и малые – безвольными, безжизненными лунатиками, покорно и автоматически выполняющими извне внушенные им приказания... Нигде ни следа „свободной воли“, ни одной искры сознания...“

Какая изумительно-верная картина сегодняшнего мира!

*

Мода сегодня: копаться в отбросах канализации. И быть непременно модернистом.

Вот, один автор „третьей волны“ начинает свой роман так: „Я сидел на унитазе...“ (или – „он сидел...“ – не помню). Но кому это может быть интересно... Или – это в каком-нибудь **высшем смысле** ?

Но вот именно так и иные течения „современного литературного процесса“ , „сидят на унитазе“. Так, на унитазе и в историю войдут.

Как-то слышала мнение: „Моцарт? Так у него мозг был размером с изюмину!“

Если бы даже это было и так, – то лишний раз доказывало бы, что гений и мозг – области автономные.

Сегодня, рьяные критики: – Глубина у Пушкина? Но вот его стихи:

„От меня вчор Леила

Равнодушно уходила...“

Но – не забывать никогда совета Пушкина:

„Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспаривай глупца.“

*

Гении – да. Святыни – да. У разных народов **свои** гении и **свои** святыни. Гении нации для нас и святыни. Мир их праху и любовь их памяти. И пусть они идут в Авалон, или Валгаллу, или в другие обиталища небожителей. А Момусу, шуту и насмешнику, места там нет.

*

Все „хорошие идеи“ радостно подхватываются „рускоязычной прессой“. Такое впечатление, что работает она по конвейерной системе. Есть набор тем: отсталая Россия, рабство, Иван Грозный, Пушкин, подлая интеллигенция и т.д. Так и представляется:

„Ворон ворону кричит...“ – „Ты о чем сегодня? О бесах? Хорошо, тогда я – о Пушкине... А вот тот, черный, глянцеви́тый, пусть об Иване Грозном.“ И конвейер движется. Смотришь, через год – можно и снова начинать.

„Аптека... Улица... Фонарь...“

Одни говорят, что русского народа нет. „В этом – они все сходятся!“ Другие – что нет народа, который в лаптях и понявах ходил. Третьи – что нации нет. Четвертые – есть, но топор точит. Плюс, инфантильный и старомодный набор начала века, о чудовищных притеснениях, которые царили в России и т.д. Иной раз кажется, что читаешь „Сонины проказы“.

Россия – тюрьма народов! Тогда непонятно: что же так восхищало в России такого большого гуманиста, как Гердер? Отчего такое великое множество людей иных наций оседали в России, делали себе из нее родину, обрусевали, вrostали в народ? И отнюдь не стремились убежать из этой тюрьмы.

Удивляет какая-то замутненность зрения, общая незадачливость и недальновидность этого течения. Его непосредственная анахроничность. Близорукая коммерция, торгующая идеями столетней давности. Товар – залежалый.

Русскую нацию считают опасной. **Плохой** народ! И – что ни скажи... Вот, как Солженицын: „Как семья, в которой произошло большое несчастье /.../ Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома.“

Отвечают: „Э. нет! Глядь – и возгласят: Сарынь на кичку!“ Устрашает и борода Стеньки Разина. Боятся привидения. А на деле – это как „Привидение в Инженерном замке“, у Лескова: плачущая женщина.

*

Создатель кибернетики, Норберт Винер, в ужасе отступил с того пути, куда привел его разум ученого. Он сказал: „Ангел с огненным мечом стоит над нами... Время не терпит, и час выбора между добром и злом отныне неминуем.“

Вспомнить извечное: человек есть мера всех вещей. Субъект культуры – живая социальная личность. Иерархия ценностей определяет и атрибут культуры: нравственность. Когда ценности ничтожны (или ложны), нравственность падает до нулевой.

И оттого, призывы Солженицына к нравственному раскаянию, этическому обмеру себя и окружающего – это самое главное в сегодняшнем мире, нашем существовании и в том, что мы можем оставить нашим детям. „Вновь открывать святыни и ценности культуры придется не эрудицией, не научным прозрением, а образом душевного поведения...“ А.Солженицын.

Духовные исцеления таинственны и сокровенны. Они не только граничат с чудом, они и есть – чудо. Но к ним, как в мудром народном эпосе, трудные пути; и – заповедные. Как в царство, где хранится „живая вода“. Нужно иметь твердую цель и неиссякаемое мужество. И слова в этом заповеднике просты и однозначны: да – и нет.

Нам нужно было познать духовное убожество западного идеала, чтобы понять заложенные в нем опасности. Гердер, еще в XVIII-м веке предостерегал русских от заражения западными веяниями, от „европейской суматохи“. И указывал путь высшей и идеальной гуманности, как путь, предназначенный России, в силу многих врожденных качеств и общего „культурно-географического“ положения. И этот путь гуманности и духовности – единственное, что может сегодня спасти Россию. Теперь уже не только от внешних влияний, но и от нас самих.

*

Случай. В момент, когда пишу это: письмо, от далекого друга, из Калифорнии. Содержание его настолько соответствует минуте, что привожу выдержку: „...Словами Новгородцева: если идеал совершенства на земле и недостижим, то стремление к совершенствованию вполне возможно, и, даже в качестве процесса незавершимого в этом мире, принесет много добра.“

А. Яремчук 2-й
РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
В ИСПАНИИ

Впервые в русском зарубежье вышла книга об участии белых русских добровольцев в гражданской войне в Испании в войсках генерала Франко. Часть книги составляет дневник одного из участников этой войны, который велся изо дня в день с 1936 по 1939 г. Кроме того в книгу включены письма и воспоминания многих русских добровольцев и описания их дальнейшей судьбы.

В книге много фотографий того времени.

376 стр. Цена книги 16 ам. долларов. Пересылка 1 доллар.

Заказы направлять:
GLOBUS PUBLISHERS, P.O.Box 27471
San Francisco, Ca.94127 USA

На складе издательства «Глобус» имеются следующие книги:

Ф.П.Богатырчук, „Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту“, с фотографиями. Цена 16 долл.

С.Стенберг, „Андрей Андреевич Власов“, с фотографиями. Цена 15 долл.

В. П. Артемьев, „Первая дивизия РОА“, с фотографиями. Цена 12 долл.

Станислав Аиски, „Предательство и измена – войска генерала Власова в Чехии“, с редчайшими фотографиями. Цена 21 долл.

К.Кромиади, „За землю, за волю...“, с фотографиями. Цена 15 долл.

„После Платлинга“, Сборник произведений, посвященных мученически погибшим героям, борцам за русское дело. Цена 3 долл.

РУСОФОБСТВО ПО ПСЕВДО-СОЛЖЕНИЦЫНСКИ

Лик русофоба изменчив и многогранен, откровенен или скрытен, лжив или искренен, часто настолько обманчив, что и за друга его можно принять... Русофоб не брезгует средствами, использует все, что может быть использовано во вред России и русскому народу: и историческую ложь, и тенденциозные, пристрастные сравнения характера русского народа с другими народами, и псевдо-философские рассуждения о „порочных“ основах русского национализма и о тождестве его с большевизмом, о национал-большевизме, о вине русского народа, „испортившего светлую мечту“ человечества – марксизм-коммунизм. Чего только мы не читаем и не слышим! И исторические параллели между Иваном Грозным (а почему не Генрихом VIII?) и Сталиным, между опричниной (а почему не инквизицией?) и КГБ. Всего не перечечь, что может выдумать ненависть к России...

Русофоб изобретателен в средствах, которые он применяет или предлагает для достижения своих целей – от прямых призывов к физическому уничтожению России и русского народа до завуалированной под любовь к России, под дружбу с русским народом работы по разложению русского национального духа, выкорчевывания русской национальной гордости, внушения русскому народу, что он виноват в том, что его поработили коммунисты-интернационалисты, последователи чуждых ему

идей, что он не жертва, а палач, что он виновен перед другими народами – нынешними жертвами коммунизма. Даже доходят до того, что требуют, чтобы русский народ просил прощения у них, чуть ли не целовал землю перед ними.

Одним из самых коварных приемов в этом разложении духа и самоуважения русского народа – это использование высказываний самих русских, извращение их для клеветы на русский народ, для обоснования своих русофобских взглядов как в глазах иностранцев, так и самих русских.

Чем возвышеннее, благороднее какое-либо высказывание, чем больше в нем искреннего стремления к самоусовершенствованию, к достижению духовных высот, к устранению ошибок, своих и чужих, – тем более безответственно, чтобы не сказать нагло, используется это высказывание для клеветы; тем легче и соблазнительнее его извратить, сделать лживые, мнимо-дружественные и солидарные со смыслом выступления, выводы. Судьбы этой не миновал и призыв Александра Исаевича Солженицына к всеобщему покаянию.

Той ниточкой, за которую уцепились русофобы и вывернули призыв Солженицына наизнанку, придав ему прямо противоположный смысл, оказалось то, что Солженицын призвал к всеобщему покаянию, но в первую очередь призвал к покаянию русский народ. Призыв Солженицына стал удобной почвой для русофобских обвинений – достаточно забыть, что Солженицын призывает к всеобщему покаянию, да еще добавить от себя, что раз Солженицын призывает в первую очередь каяться русский народ, он признает особую вину русских. Дальше уже легче, можно нагромождать вины и ошибки русского народа, действительные и выдуманные, и говорить о необходимости покаяния только русского народа, не упоминая о всеобщности покаяния, и забывая, что любое покаяние должно начинаться с себя, с своего народа, а не с призывов, или даже приказов другим, покаяться.

Злоупотребляют призывом Солженицына многие, но особенную роль играет Сергей Солдатов, человек, который очень часто декларирует и любовь к России, и приверженность к идеям Солженицына. При внимательном рассмотрении его выступлений обнаруживается, что этот „демократ“ с достойной лучшего применения изощренностью, проповедует русофобские идеи и извращает мысли Солженицына.

Я не случайно, не без умысла, назвал Сергея Солдатова „демократом“. Так его назвал в своих лагерных воспоминаниях М.Хейфец, и именно один небольшой пассаж в этих воспоминаниях зародил во мне мысль, что истинное лицо С. Солдатова совсем не то, как он его старается показать. И далеко не демократическое.

М.Хейфец пишет, что при одной встрече с С. Солдатовым в лагере в Мордовии, тот ему сказал следующее (цитирую М.Х., подчеркнуто мною):

„Я здесь, в зоне, со стариками беседовал, спрашивал, в чем разница между гестапо и ГБ? Они прошли все. Говорят. жестокость и там, и тут, – там, пожалуй, еще страшнее. Но зато в гестапо на самом деле выясняли – враг ты фюреру, его идее, или нет. Если враг, они безжалостны; если нет – ты их не интересовал, тебя выпускали. Конечно, Гитлер все это искажал – были расстрелы заложников, убийства толпами., но, кажется, национальную, исконную черточку прощупать можно. А в ГБ следовательно тебя оформлял в зону, и что было у тебя на самом деле – его не интересовало. Тоже национальная черточка“.¹⁾

Удивительно знакомые слова! Их я уже читал ранее, но звучали они чуть-чуть иначе, а именно:

„...В Гестапо со средневековой прямолинейностью хотят добиться истины, поэтому зверски бьют, мучают, вниз головой подвешивают. Но если по их законам вы окажетесь невиновен – выпустят, как вот меня. А НКГБ истины не добиваются, разве когда организацию ищут, – потому, что им глубоко безразлично – виновны вы, невиновны, всё равно каждому десять лет.“

Эти слова А. И. Солженицын в своей пьесе-трагедии „Пленники“²⁾ вложил в уста Евгения Дивнича, одной из самых ярких фигур на арене антисоветской борьбы; человека, о котором в последние годы, вольно или по ошибке, написано много лживого или неверного.

Разница между двумя высказываниями небольшая, С. Солдатов добавил немного. На какая разница в смысле! Если Дивнич сравнивал немецкие карательные органы с советскими, то С. Солдатов очернил русский народ.

Дальнейшие сомнения об истинном отношении С. Солдатова к русскому народу возникли у меня после того, как я услышал его доклад в Нью-Йорке. Мысли, высказанные в этом докладе, С. Солдатов выразил в письменном виде в статье „Эстонский узел“, опубликованной в журнале «Континент» и в некоторых других изданиях.³⁾

Описывая события 1940-41 годов, связанные с вступлением советских войск в Эстонию и массовыми репрессиями, С. Солдатов говорит, что эстонцы считают, что вина за гибель репрессированных (в числе которых, кстати, было много русских, жителей Эстонии), лежит на русских. Именно на русских, а не на советской власти.

Не хочу наводить напраслину на С. Солдатова – он тогда сказал, что это ошибка, что эстонцы ошибаются. Но все дальнейшее его изложение набросило тень сомнения на искренность его заявления. Все, что он дальше говорил об отношениях русского и эстонского народов, России и Эстонии, основывалось именно на этой неоправданной враждебности эстонцев к руским. Казалось бы, С. Солдатов, декларирующий дружбу к русскому народу, должен бы занять активную позицию в смысле преодоления этой ошибки. Тем более, этого бы следовало ждать от человека, считающего себя последователем Солженицына. Но этого не было, и не спроста. Истинное отношение С. Солдатова не только к русскому народу, но и к другим народам, далеко от идеи справедливости, всеобщего покаяния и вообще от солженицынских идей и идеалов.

Убедила меня в этом, в первую очередь, статья С. Солдатов „О раскаянии народов“, опубликованная в «Вече» № 12. Коварная статья, подлинный образец казуистического, завуалированного русофобства.

За отвлекающей, притворно-смиренной критикой собственных поступков, критикой, звучащей скорее как самовосхваление, С. Солдатов начинает рассуждение о том, что многие беды народов – это возмездие за их ошибки, что страдающие не всегда безгрешны. А поскольку речь идет о русском народе, то следует понять, что именно русский народ виноват, и что все беды, свалившиеся на него, заслуженное возмездие за его грехи. Если как-то признается вина и других народов, то только как „соучастие в мировом зле“.

С. Солдатов пишет: „Ничья ответственность не вскрыта так глубоко, как русская. Ни о чьей вине не писано и не говорено больше“. Действительно, никого еще не пытались и не пытаются так очернить, как русский народ – и за его прошлое, и за его настоящее. Основой всех обвинений служит отождествление русских с коммунистами и лживые поиски корней всех грехов советской власти в русском прошлом. В чем же видит вину русского народа С. Солдатов? Все вины, которые перечисляет С. Солдатов, относятся ко временам революции и советской власти.

Но вина ли это русского народа? Разве Россия виновата в том, что сначала обманом, беззастенчиво лживыми посулами, русский народ соблазнили на неправоное дело против самого себя, а не против других народов, а вскоре после этого силой, невиданным в мире террором, советская власть принудила русский народ оставаться в этом зле и распространять его на другие народы. Что имеет общего марксизм, коммунизм с Россией, с русской историей, с русскими национальными и государственными идеалами? С. Солдатов говорит о „восприимчивости к разбойной, марксово-ульяновской идеологии“ русского народа. Но русский народ, когда поддался большевистскому соблазну (к восприятию которого он был услуж-

ливо подготовлен многими внутри страны, а также заграничными „печальниками о народном добре“, которые сейчас осмеливаются его осуждать), не желал зла ни себе, ни другим народам. Наоборот, русский народ пошел за теми, кто обманно сулил счастье не только ему, но и всему миру. То, что это обернулось мировым злом, не вина русского народа и не последствие его злой воли. Вся ответственность лежит на тех, не русских и руских, отказавшихся от своей национальности, от России, во имя интернациональной утопии, которые, вскормленные чуждыми России и русскому народу идеями, были проводниками этого обмана и насилия. Как же можно говорить о каком-то „справедливом“ возмездии русскому народу за его „вину“?

Основной вопрос, разделяющий русофобов и нерусофобов – это признание или непризнание того, что большевизм есть продукт русского духа, свойственный русскому характеру социальный строй, естественное продолжение русской истории, или же наоборот, – что это принесенное извне, чуждое и враждебное России. В этом весь водораздел, основа основ всех суждений. Гребень этот четкий, острый, на нем нельзя сидеть, свесив ноги и туда, и сюда. Или ты русофоб, признавая советское за русское, или ты друг России, отрицая это. С. Солдатов явно на русофобском склоне, хотя и пытается доказать, что он – хоть частично – на другой стороне гребня.

Есть русофобы, которые атакуют Россию, так сказать, „в лоб“, открыто высказывая свою нелюбовь или даже ненависть к ней. С. Солдатов не таков, он предпочитает обходной маневр, он подведет вас примерами, теоретическими рассуждениями непосредственно к русофобскому выводу, и там оставит, чтобы вы сами сделали этот вывод. Очень четко это видно в разделе „Без вины ли гонимые“ (название-то какое!), в разбираемой нами статье „О раскаянии народов“.

На первый взгляд, никакой русофобии. Разбираются примеры „на уровне личности“, „на уровне общественных

групп,, и „на расовом уровне“, когда возмездие за вину оправдано и справедливо.

На уровне личности, на примере вора-рецидивиста ставится вопрос, справедлива ли кара, которой он подвергается. В общем, замечание правильное, но в контексте вопроса о вине русского народа получает неожиданную окраску – вспоминается утверждение русофобов, что советская власть только рецидив русского империализма. Удивительное созвучие...

На уровне общественных групп С. Солдатов говорит о заслуженной каре – с точки зрения высшей справедливости – постигшей многих „старых большевиков“, которые сами были палачами и убийцами невинных людей, во время сталинских чисток 1937-39 гг. Конечно, правильно, что их постигла заслуженная кара, – но, опять-таки, в данном контексте приходит на ум утверждение русофобов, что весь русский народ – убийцы, насильники и расстрельщики и подлежит уничтожению „во имя общего блага...“

На расовом уровне С. Солдатов говорит о повышенной преступности среди черного населения Соединенных Штатов и видит причину этого в „несовершенной нравственной природе негров“. Не говоря о том, что от этого высказывания сильно разит душком расизма, вспомним многочисленные утверждения русофобов о том, что русскому характеру свойственна склонность, с одной стороны, к раболепию, а с другой – к насилию и порабощению других, то есть, о неполноценности русских.

Кстати, в своих рассуждениях об оправданности кары на уровне общественных групп и особенно на расовом уровне, С. Солдатов за грехи отдельных личностей шельмует группы людей целиком. Довольно-таки человеконенавистническая позиция.

Возможно, кто-то скажет, что это случайное, непреднамеренное совпадение рассуждений С. Солдатова с самыми злостными обвинениями со стороны русофобов. Думаю, что это не так!

В разбираемой нами статье „О раскаянии народов“ С. Солдатов, перечисляя „вины“ русского народа, считает одной из них „количественно наиболее высокое участие в действиях советских военных и карательных сил“.

В другом месте, в своем докладе „Политическое освобождение и нравственное обновление“⁴⁾, сделанном им в 1983 году во Франкфурте на ежегодной конференции журнала «Посев», пытаясь доказать особую вину русского народа и обосновать свое требование, чтобы русский народ покаялся раньше всех других народов и перед всеми другими народами, С. Солдатов начинает уже математические выкладки – мол, было 60 миллионов жертв, сколько же было палачей, доносчиков и прочих преступников среди русского народа.

Прежде всего, как говорит восточная поговорка, „у большого верблюда и ссадин больше“. Смешно сравнивать в абсолютных цифрах стомиллионный русский народ с, скажем, теми же эстонцами, которых во времена революции было менее миллиона.

В относительных же числах количество инородцев и иностранцев в советских, партийных и карательных органах во много раз превышало количество русских, их число явно было непропорционально больше численности их наций и народностей. В советских и партийных органах, в армии (особенно среди политкомиссаров), и, конечно, в карательных органах, кишмя кишело нерусскими фамилиями, а еще больше – нерусскими физиономиями.

Не нужно сбрасывать со счетов и степень принуждения в совершении злых дел. Одна степень вины – если вообще можно говорить о вине – у мобилизованного в красную армию русского мужичка, а другая у добровольцев из венгров, китайцев, латышей, составивших костяк красной армии и ударные карательные отряды. Одна вина у доносчика, доносившего по убеждению или с целью личной выгоды, другая у того, кто доносил потому, что боялся провокации и ответственности.

Но самое главное, – народ оценивают не только по плохому, но и по хорошему, причем преимущественно по хорошему, по тем вершинам, которые он достиг. Были палачи и из русских – к счастью, в процентном отношении значительно меньше, чем из других народностей, но были и беззаветные борцы против коммунизма, причем именно русские оказали наибольшее сопротивление и понесли больше всех жертв. С. Солдатов говорит только о жертвах возмездия судьбы и искупления, но старательно обходит вопрос о жертвах, которые погибли в активной борьбе за освобождение своего народа, да и всех других, от мирового зла – коммунизма. Их-то значительно больше в русском народе, чем палачей.

С. Солдатов обмолвился о „мировом зле“ коммунизма и о „соучастии“ других народов в нем. Вопрос о „соучастии“ заслуживает внимания.

С. Солдатов приводит ряд примеров, как другие народы – входящие в состав России, или нет – активно помогали установлению в России советской власти, всячески мешали борьбе антикоммунистических сил. Существует мнение, что не будь этой активной помощи революционным силам со стороны нерусских элементов, не было бы советской власти.

Но помимо активного пособничества, есть еще другое – пассивное. Отказ в помощи в нужный момент; равнодушное, а подчас и злорадное взирание на то, как коммунистическая власть калечит и физически, и духовно русский народ.

Не будем вдаваться в подробности, описывать, кто и как в этом виноват. Интересующихся подробностями можно отослать к книге Ю. Мацкевича „Победа провокации“. Автор – польский националист и антикоммунист – кусает локти и проклинает Пилсудского, что тот заключил поспешный мир с большевиками, по существу спас их от гибели. И признает, что нынешнее плачевное состояние – Польши – прямое последствие политики Пилсудского, историческое возмездие за предательство антикоммунистической борьбы. В таком же духе он говорит и о

других национальных меньшинствах дореволюционной России. Хорошо бы об этом подумать и С. Солдатову: нынешняя судьба эстонского народа не прямое ли последствие его поведения в антикоммунистической борьбе, его отношения к русскому народу, возмездие за его грехи?

С. Солдатов тщательно обходит этот вопрос, хотя, если бы он был действительно последователем А. И. Солженицына, если бы следовал духу и букве его призыва к покаянию, он бы не пекся так о вине русского народа, а подумал бы – нет ли вины моего – эстонского народа? Не следовало бы ему покаяться в первую очередь?

А вина есть, и не малая. Вина эстонского народа уже в том, что преследуя свои узко-националистические, шовинистические сиюминутные интересы, он не поддержал борьбу русских антикоммунистов против большевиков, не распознал „мирового зла“ коммунизма, а видел в нем если не союзника, то полезный фактор в достижении своих целей. Вина его в том, что он прямо повинен в гибели многих белых борцов. В мою бытность в сталинских лагерях мне один эстонец с воодушевлением рассказывал, как он, солдат только что созданной эстонской армии, стоял на берегу Чудского озера, а там, на льду, замерзали бойцы Белой армии генерала Юденича., отступившие от Петрограда. Он не признавал, что тогда он закладывал фундамент и своей горькой лагерной судьбе, и судьбе своего народа. Виновата Эстония и в том, что в течение всего своего существования как самостоятельного государства, вела политику соглашательства с Советским Союзом, что подчас приводило к весьма неблагоприятным поступкам.

„Ищите исцеления! Пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления“ – эти слова С. Соловьева взял С. Солдатов эпиграфом к своей статье, явно метя в русский народ. Не лучше ли ему самому перестать выдавать эстонский народ за безгрешный, призвать его к покаянию и перестать считать себя судьей, достойным приказывать другим народам каяться и указывать, за что каяться.

Нет, не любит С. Солдатов Россию. И не демократ он. Скорее, ярый эстонский шовинист, необъективный и несправедливый, для которого только свой народ хорош и интересы своего народа только законны.

В том же своем докладе в Нью-Йорке С. Солдатов говорил (и повторил в своей статье в «Континенте»), что русские эксплуатируют Эстонию, в частности, что электроэнергия Нарвской ГЭС поступает в Россию. Но, помилуй Бог, почему Нарва должна считаться эстонской? Обе стороны реки с незапамятных времен заселены русскими, это исконно русская земля, и если она после революции попала в Эстонию, то это не значит, что навечно! Не говоря уж о том, что Нарвская ГЭС построена не в самостоятельной Эстонии – у нее на это никогда бы не хватило сил – а после войны, русскими руками и на русские средства. Такова „объективность“ демократа Солдато-ва!

Но это – не самое худшее. В том же докладе (и в той же статье), С. Солдатов высказывает суждения о национальном составе населения Эстонии, чреватые самыми серьезными последствиями и, в общем, сильно смахи-вающие на фашистские, или же методы „решения“ национальных вопросов Сталиным. Он указывает на то, что в настоящее время в Эстонии число лиц не эстонской национальности, в основном русских, составляет около 35%. По С. Солдатову, „нормальный“ процент лиц другой национальности не должен превышать 15%. Остальные должны быть „репатриированы“.

Хорошую же судьбу готовит С. Солдатов русским в Эстонии! Ведь эти люди не сделали ничего плохого Эстонии и эстонскому народу, они такие же страдальцы, как и эстонцы, под пятой советской власти. Если пришли они в Эстонию, то не для того, чтобы угнетать эстонцев, а за куском хлеба – может быть, более сытным, чем в других местах Советского Союза. Они не грабили и не грабят, а работают и зарабатывают свой хлеб, не мешая то же делать эстонцам. Ведь дело касается не только людей, но их домов, в которых они живут, заводов, где

они работают, причем и эти дома и эти заводы построены их руками и с помощью России (кстати, это не скоро бы смогла сделать сама Эстония). Так что же – все это отнять и людей выгнать? А если люди не захотят уходить из насиженных, для многих уже в третьем поколении, родных мест? Лишить их гражданских прав, права на труд, так сказать, выморить? Посадить в телячьи вагоны по сталинскому рецепту и отправить на восток, а если попытаются вернуться – расстреливать на границе? Видно, С. Солдатов глубоко поражен язвой шовинизма и ненависти к другим народам. Понимает ли он, что сея ветер, пожнет бурю, что исполнение его планов вызовет вместо совместной вражды русского и эстонского народов к советской власти вечную, неистребимую вражду между эстонским и русским народами, которая русскому народу не пойдет на пользу, а эстонскому грозит трагедией.

Нехорошие мысли зреют у Сергея Солдатова, этого русофоба под маской последователя Солженицына. Избави нас Бог от таких друзей! И не ему проповедывать: как, кому и за что каяться, во всяком случае, не ему указывать русскому народу, что ему делать. Русский народ будет каяться перед Богом, но не перед недругами России!

1) М.Хейфец. „Демократ Сергей Солдатов“. 2-я лагерная книга.

2) А.И.Солженицын. „Пленники“. В книге „Пьесы и киносценарии“, ИМКА-Пресс, Париж, 1981 г., стр. 203-204.

3) Сергей Солдатов. „Эстонский узел“. «Континент» №32, стр. 223.

4) См. «Посев», 1984, №3, стр. 36.

П. П. МЕЙЕР

ЗАПИСКИ*

В СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ

27 февраля – 3 марта 1917 г.

1-го марта 1917 года, около двух часов дня мне позволил управляющий почтово-телеграфным ведомством Ростова на Дону Пономарев и сообщил, что сегодня почтово-телеграфная контора приняла и передала в другие города сообщения исключительной важности, которые он остерегается передать мне по телефону. Пономарев спросил застанет ли меня, если приедет лично. .

Приехав, Пономарев рассказал, что через телеграфную контору прошли две телеграммы на имя городских голов в городах Северного Кавказа и Закавказья, содержание которых им записано. Это были первые телеграммы от Временного Комитета членов Государственной Думы с извещением о том, что он взял в свои руки восстановление государственного и общественного порядка и с призывом к населению и армии об оказании содействия при создании нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием. Пономарев пояснил, что по наведенным им справкам, телеграф в Петрограде находится в руках революционеров и что на основании других справок он пришел к убеждению, что телеграммы не апокрифические и что они действительно исходят от той власти, которая повидимому организовалась в Петрограде после револю-

* Окончание. Начало см. «Вече» № 14.

ционных выступлений народных масс и войск за последние несколько дней.

Телеграмм в адрес ростовского и нахичеванского городских голов не поступало и Пономарев интересовал вопрос, как ему поступить, если аналогичная телеграмма придет в г. Ростов. Он спросил, следует ли ему ограничиться передачей телеграммы в общем порядке военному цензору или поступить иначе. Пономарев сообщил также, что кроме него о прохождении телеграмм знают только начальник телеграфной конторы и два старших служащих, которые, как он уверен, этого разглашать не будут.

Я ответил, что военный цензор подчинен областному наказному атаману графу Граббе и что только он может решить этот вопрос.

— Я уже говорил с графом Граббе по телефону и получил приказание задержать пока передачу телеграммы и вообще дать возможность выиграть время, ибо граф решил тотчас снестись по телефону со Ставкой для получения соответствующих инструкций, — сказал Пономарев.

Я просил Пономарева сообщить мне немедленно по телефону о последующих распоряжениях графа Граббе и о получении новых телеграмм. Вечером и всю ночь мне присылались в запечатанных пакетах копии полученных агентурных телеграмм, касавшихся переворота в Петрограде.

Вечером же начальник ростовского жандармского полицейского управления полковник Мартос сообщил мне по телефону о том, что ему известно содержание телеграммы, посланной Временным Комитетом Государственной Думы на имя Наместника на Кавказе Великого Князя Николая Николаевича. Содержание этой телеграммы оказалось идентичной телеграммам, прошедшим через телеграфную контору.

Содержание вечерних телеграмм совершенно ясно обрисовывало мне создавшееся положение. Переворот несомненно уже совершился при энергичном содействии войск и народа, к чему я был уже отчасти подготовлен,

ознакомившись с настроением в Петрограде во время поездки в столицу. Полагая, что затягивать сообщение о совершившихся событиях не следует, я написал вечером письмо графу Граббе, в котором отметил, что сведения о петроградских событиях начинают просачиваться и это крайне нервирует население. Вечером в местных газетах было подчеркнуто неполучение агентурных телеграмм из Петрограда в течении последних трех дней, в то время, как частные телеграммы получают. Вечером я поехал на вокзал для проводов французской делегации. На лицах присутствовавших была заметна тревога, публика шушукалась. Я пожелал уезжавшим доброго пути и тотчас же уехал. У подъезда меня остановили с вопросами, нет ли чего нового из Петрограда. Я ответил, что в Петрограде, повидимому, происходят события большой важности, о которых, вероятно, завтра получу сведения из официальных источников.

Ночью не пришлось раздеваться. Все время приносили свежие телеграммы о петербургских событиях.

Второго марта около одиннадцати часов утра ко мне прибыл на автомобиле из Новочеркасска начальник войскового штаба генерал Абрамов и передал, что Наказной Атаман разрешил выпустить из военной цензуры агентурные телеграммы, за исключением тех, в которых говорилось об участии в перевороте войск. Такое же распоряжение Наказного Атамана было изложено в телеграмме на мое имя, полученной 2-го марта и в предписании Атамана на имя начальника гарнизона, копию которого я получил.

Я заявил, что по моему мнению замалчивание невозможно и может быть причиной лишних эксцессов, да и бесцельно, так как к вечеру могут прибыть с поездами газеты из других местностей, в которых помещены все сведения полностью. Если уж требовать от военных цензоров цензуры агентурных сообщений, которые несомненно подвергнуты военной цензуре в Петрограде, то максимальным требованием может быть исключение названия восставших полков, может быть даже, исключение

самого слова „восставших“. В общем же я полагал, что лучше никаких цензурных изменений не делать и передавать телеграммы полностью редакциям газет для напечатания в ближайшем вечернем выпуске. Генерал Абрамов согласился, что точка зрения атамана, основанная на положении дел вчера, уже не соответствует сегодняшней обстановке. Я вызвал Пономарева, которому генерал Абрамов указал, чтобы полученные телеграммы о петроградских событиях были немедленно переданы цензорам с тем, чтобы сегодня же они были переданы цензорами редакциям газет. От меня генерал Абрамов поехал к начальнику гарнизона генерал-майору Кванчхадзе, которого впрочем и я держал все время в курсе событий.

Ночью были получены телеграммы о проезде 2-го марта в 11 часов через станцию Ростов начальника санитарной части армии Принца Александра Петровича Ольденбургского. Граф Граббе просил меня по телефону доложить принцу о получении агентурных телеграмм. Утром выяснилось, что поезд запаздывает и придет не раньше часу дня. Перед отъездом на станцию, я распорядился передать редакторам местных прогрессивных газет – „Ростовская речь“ и „Приазовский край“ – приглашение пожаловать ко мне тотчас после отъезда принца и просить заместителя председателя Доно-Кубанского Союза земств и городов Зеелера и председателя Военно-промышленного Комитета Н. Е. Парамонова пожаловать ко мне на совещание к трем часам дня. При этом я имел в виду подготовить как редакции газет, так и представителей наиболее значительных общественных организаций прогрессивного направления к предстоящему известию о событиях чрезвычайной важности, выяснить отношение их к этим событиям и заручиться их содействием для безболезненного перехода населения к новым формам государственного строя.

Поезд принца пришел с большим опозданием – около двух часов дня. Принц пригласил меня в вагон и заговорил о текущих событиях. Знал он лишь кое-что из рассказов железнодорожных чинов, но ничего определен-

ного не знал. Телеграмм о петроградских событиях он не получал. Я захватил с собой наиболее важные из числа полученных агентурных. Принц пригласил старших чинов своей свиты и приказал читать привезенные мной телеграммы. Чтение, видимо, его взволновало, лицо и глаза налились кровью, и я опасался, как бы не случился с ним удар. Только один раз он перебил чтеца, когда был упомянут Лейб-Гвардии Гренадерский полк.

— Всегда говорил, что если что начнется, то обязательно с Лейб-Гвардии Гренадерского полка, — заметил принц. Когда прочли об участии Преображенцев, он удивленно и безнадежно сказал:

— И Преображенцы?!

При приезде в Управление, я застал уже ожидавших меня редакторов газет и двух общественных деятелей. Пригласив их всех вместе в кабинет, я вкратце объяснил суть петроградских событий и попросил их содействия в деле поддержания порядка и спокойствия в городе. Они попросили разрешения обсудить между собой то, что выслушали. Вернулись ко мне в кабинет через 20-30 минут и задали вопросы: могут ли они сегодня и завтра организовать собрания представителей различных политических течений; будет ли их деятельность в намеченном мною направлении совершенно свободна от правительственного контроля, не встретит ли препятствий со стороны полицейских и жандармских властей? Я дал заверения, что их деятельности никто не будет препятствовать и что соответствующие инструкции будут мною даны полицейским и жандармским властям.

Второй вопрос: хотя они против манифестаций, но не ручаются, что впечатлительная молодежь и рабочие не будут манифестировать. Будет ли полиция препятствовать манифестациям? Я ответил, что препятствий никто чинить не будет.

Третий вопрос: так-как у них существует опасение, что со стороны „черносотенцев“ („Союза Русского Народа“ и др.), могут последовать контр-выступления, то как местные власти отнесутся к этим выступлениям? Можно

ли рассчитывать, что власть поможет обезвредить элементы, со стороны которых можно ожидать агитацию против слагающегося нового строя?

Я пояснил, что активных выступлений со стороны реакционных элементов не ожидаю, что всякие уличные выступления, манифестации с царскими портретами и т.п. были бы безумием со стороны лиц, сочувствующих старому строю и, так как таковые несомненно привели бы к столкновениям и эксцессам, то если бы они затеивались, то полиция должна будет принять немедленно меры для их недопущения. Я подчеркнул, что у меня нет опасений в отношении даже членов „Союза Русского Народа“, которые не представляют собой сколько-нибудь организованную силу. Когда речь зашла о дльнейшем издании правой монархической газеты «Ростовский листок», я заявил, что готов подчинить временно эту газету предварительной цензуре и лично просматривать корректуру, дабы не допустить в ней агитации за прежний строй, которая могла бы вызвать раздражение в массах и разгром редакции, то-есть самоуправство, которое, если будет применено хотя бы в одном случае, несомненно передаст город во власть неорганизованной толпы, вызовет погромы с участием уголовного элемента и другие нарушения порядка. Не считал я нужным и аресты „союзников“, в том числе Костричина и заявил, что по моему мнению они теперь безвредны. В отношении же Костричина я заметил, что хотя этого мерзавца не имею основания защищать, что он на меня писал доносы в Петроград, но не желал бы применять к нему репрессивные меры, дабы это не имело характера сведения личных счетов.

Парамонов спросил: „А как же охранное отделение, ведь оно будет продолжать свою прежнюю работу?“ Я объяснил, что начальник охранного отделения ротмистр Пожого лежит в бреду с тифом. „Ну и слава Богу!“ — вырвалось у Парамонова.

Закончили мы разговор решением собрать завтра совещание совместно с представителями некоторых общественных организаций, представителями городских

самоуправлений, начальником гарнизона, начальником полиции и теми лицами, которых найдем нужным пригласить. Добавлю, что в разговоре я упомянул, что судя по имеющимся у меня данным, как со стороны Наказного Атамана Войска Донского, так и со стороны начальника гарнизона генерал-майора Кванчхадзе, видимо существует одинаковое со мной отношение к текущим событиям и потому я уверен, что и с их стороны не последует мер, направленных к борьбе за поддержание старой власти.

Решено было, что телеграммы, по получении их из цензуры, будут напечатаны не в особом добавлении, а в тексте выпускаемых вечером того же дня газет.

После окончания совещания я вызвал полицмейстера подполковника Иванова, объяснил ему положение дел, дал инструкцию об отношении полиции к текущим событиям. Я приказал, чтобы полиция не препятствовала манифестациям, однако не допускала манифестации монархистов, напомнил о необходимости очень осторожного и терпеливого отношения к выражениям чувств народной радости, если даже таковые будут принимать характер враждебный к чинам полиции и вообще не оказывать сопротивления, в случаях нападок обращаться к благоразумию толпы, объясняя, что полиция раньше служила интересам народа и не пойдет и в данном случае против народной воли. Во всех сомнительных случаях предложил обращаться ко мне непосредственно. Подполковник Иванов отнесся к этим указаниям вполне сочувственно, не возражая, и заявил, что немедленно созовет приставов и объяснит им мои указания.

Вслед за этим я вызвал управляющего канцелярии Е. В. Андреева и помощника градоначальника полковника Ильина. Оба меня выслушали, но сочувствия мои решения повидимому у них не встретили. Чувствовалось, что они были неуверены в бесповоротности событий. Своего мнения они мне не высказали, но и меня не опровергали.

Пригласил к себе прокурора суда Г. В. Юргенса, осведомил его обо всем происходящем. Он, как и я, получил телеграмму министра юстиции Керенского об освобожде-

нии всех политических заключенных. Распорядился о приведении в исполнение приказа Керенского. У нас оказалось таких всего 3 лица.

Около 5 часов дня из редакции «Приазовского Края» мне позвонил Коллига. Он сказал, что громадная толпа народа осаждает редакцию и требует известий. Поэтому редакция считает необходимым в целях успокоения публики немедленно выпустить первые телеграммы в виде особого добавления к газете и посему спрашивает, настаиваю ли я на прежнем решении о напечатании телеграмм в вечернем выпуске. Я дал свое согласие на выпуск приложения немедленно, с тем, чтобы телеграммы были напечатаны также и в вечернем выпуске и чтобы об этом согласии были поставлены в известность редакции «Ростовской речи» и «Южного края».

В шестом часу ко мне приехал Н. Е. Парамонов с просьбой показать те агентурные телеграммы, что были мною получены. Я дал их ему. Он просмотрел и записал текст с очевидной целью проверить, будут ли все телеграммы переданы из цензуры в редакции.

Вскоре звонил по телефону военный цензор, помощник начальника губернского жандармского управления подполковник Иванов. Спрашивал совета: продолжать ли цензурирование телеграмм и вообще цензуру на почте, ибо туда для просмотра телеграмм прибыло несколько офицеров, командированных начальником гарнизона. Я посоветовал ему прекратить работу на почте.

Впрочем и начальник гарнизона вскоре в разговоре по телефону недоумевал: какую роль теперь должны играть несколько офицеров, командированных по предложению начальника войскового штаба для просмотра получаемых телеграмм. Я высказался, что по моему мнению, деятельность их может вызвать трения и обострения и просил устранить их, что и было сделано генерал-майором Кванчхадзе.

Вечером на Большой Садовой было чрезвычайно оживленно. Кофейни «Амбир» и «Чашка чаю» были переполнены. Произносились речи, пели марсельезу. Была и

манифестация с красными флагами, но незначительная. Полиция держалась в стороне и все обошлось благополучно.

Утром 3-го марта состоялось совещание в управлении градоначальства. Участвовали, кроме меня, начальник гарнизона генерал-майор Кванчхадзе, ростовский городской голова Хмельницкий, гласный Думы Горбачев, гласный Думы Облонский, городской голова Нахичевани Попов, полицмейстер подполковник Иванов, председатель нахичеванского Комитета городского Союза Дерезанов, гласный нахичеванской думы Челкушьян, председатель военно-промышленного комитета Н. Е. Парамонов, за председателя Доно-Кубанского Земского Союза Зеелер, товарищ председателя Военно-промышленного Комитета проф. Курилов и прокурор Окружного Суда Юргенс.

Я кратко изложил предмет заседания. О вступлении в управление государством Временного Правительства уже известно из опубликованных телеграмм. Наша задача сохранить порядок в городе, содействовать безболезненному укреплению новой власти.

Зеелер доложил собранию, что общественные органы, стремясь создать объединенную общественность, согласятся взять на себя заботу о безболезненном переходе к новым формам жизни, сознавая всю тяжесть и ответственность этой задачи. Но для этого им надо знать прежде всего вполне определенно, признает ли существующая администрация и представители городского управления Временное Правительство и считают ли обязательными для себя все его распоряжения? Первым на этот вопрос ответил я, заявив, что Временное Правительство я признаю и все его распоряжения считаю, для себя и подведомственных мне чинов, обязательными к исполнению. К моему заявлению присоединилось большинство присутствовавших. Воздержались от такого категорического ответа генерал Кванчхадзе, прокурор Юргенс и городской голова Нахичевани Попов. Кванчхадзе заявил, что он, как солдат, выполняет приказания своего начальства и не его дело обсуждать вопросы о

законности или незаконности правительства. Атаман приказал объявить гарнизону о вступлении нового правительства, он это и сделал, объявив в приказе по гарнизону. Суть выступления генерала Кванчхадзе сводилась, во всяком случае, к уклонению от прямого ответа. Это беспокоило присутствующих. Стали возражать, что в этом случае играет роль не личный взгляд генерала, а то, как он будет разъяснять своим подчиненным текущие события, будут ли им даны указания чинам гарнизона о необходимости полного, сознательного подчинения Временному Правительству и в какой форме даст он такие указания? Ему предлагалось объехать все части гарнизона для личных разъяснений, вместе с кем-либо из представителей нарождающегося Гражданского Комитета. Я постарался склонить генерала Кванчхадзе к определенному ответу, напоминая, что в сущности он уже признал новое правительство, поскольку не отказывается выполнять его распоряжения, передаваемые ему через атамана. Я приводил доводы, что судя по развитию петроградских событий (по последним агентурным телеграммам), старая власть сама устраняет себя и подчиняется решениям Временного Правительства и поскольку мы никаких распоряжений от старой власти не имеем, то должны считать её недействующей, действующей же властью является Временное Правительство. Возможно лишь что-либо одно: или стать на сторону безвластия, или признать Временное Правительство и совершенно открыто стать на его сторону. Для передачи указаний гарнизону я не считал необходимым объезд всех частей генералом Кванчхадзе, ибо при 30-тысячном гарнизоне, частей слишком много и такой путь разъяснений был бы слишком долгим. Поэтому я полагал достаточным издание соответствующего приказа по гарнизону и личные указания начальника гарнизона на собрании командиров частей или старших офицеров. После нескольких реплик, генерал Кванчхадзе наконец сформулировал свое отношение к Временному Правительству в той же форме, как сделал я в начале заседания, то есть сказал, что Временное Прави-

тельство он признает и его распоряжениям будет подчиняться. Прокурор Окружного Суда Г. В. Юргенс высказался, что он, как прокурор, с точки зрения чисто юридической, не считает себя компетентным входить в обсуждение поставленного вопроса. Я возразил, что мне известны распоряжения прокурора об освобождении политических заключенных, основанные на распоряжении Временного Правительства, и что стало быть, господин прокурор признает его и подчиняется его указаниям. „Да, я выполнил требование министра юстиции Временного Правительства Керенского и буду выполнять впредь его распоряжения, но все-таки не считаю себя вправе отвечать по существу заданного мне вопроса“, – ответил прокурор, а затем написал на отдельном листке это свое мнение, прося внести содержание листка в протокол заседания.

Нахичеванский городской голова Попов заявил, что он разделяет мое мнение (градоначальника), но не считает возможным внести его в протокол, так как он присутствует на совещании как городской голова, а мнение городского головы может быть высказано на основании того мнения, к которому придет вся Дума. Мнение же Думы ему еще неизвестно, хотя он не сомневается, что она окажется также на стороне Временного Правительства. Но предрешишь это мнение нахичеванской Думы он не считает себя вправе.

Я возразил на это, что присутствуя на заседаниях по городским делам, в которых Попов принимал участие как городской голова, он высказывал всегда свое мнение, не испрашивая согласия городской Думы. Так он поступал на многих других заседаниях и посему, казалось бы, нет оснований делать исключение для сегодняшнего заседания. Поддержали меня в этом мнении господа Дерижанов и Челкушьян, после чего и Попов примкнул к общему решению.

Зеелер предложил послать телеграмму Временному Правительству в лице председателя Совета Министров и министра внутренних дел и прочел текст телеграммы. Не

могу вспомнить в точности текст проекта телеграммы, но в общем она была изложена в литературной форме и с некоторым пафосом, восторженностью. Я заметил, что моему соседу генералу Кванчхадзе текст не понравился и во избежание новых дебатов я сказал, что текст телеграммы желателен строго деловой, отвечающий решениям нынешнего собрания, а посему я бы полагал, что наиболее подходящий язык телеграммы – это строго деловой, „если хотите – казенный“, к которому мы привыкли при изложении служебных решений. Зеелер без возражений изменил текст телеграммы, которая и была затем подписана в следующем виде:

„Экстренное собрание в составе господ Градоначальника, начальника местного гарнизона, представителей городов Ростова на Дону и Нахичевани, комитетов Доно-Кубанского земского и нахичеванского городского Союзов и Военно-промышленного Комитета единогласно постановили признать Исполнительный Комитет Государственной Думы и новый Совет Министров и принимают к руководству и исполнению распоряжения нового правительства.“

Все участники заседания подписали телеграмму, за исключением прокурора Юргенса, оставшегося при отдельном мнении.

Зеелер доложил о формировании общественной организации для поддержания в городе порядка и для безболезненного перехода к новому государственному строю, с наименованием этой организации Гражданским Комитетом. Комитет надеется объединить всех представителей общественности, в том числе городских самоуправлений и представителей рабочих организаций, хотя участие последних еще не выяснилось, т.к. местный Совет Рабочих Депутатов находится в стадии формирования (в этот день на фабриках, заводах и в железнодорожных мастерских шло избрание депутатов). Собрание высказалось за желательность подобной организации и за оказание содействия ей.

О результатах совещания был составлен протокол, напечатанный в местных газетах на следующий день, следующего содержания:

„1917 года, марта 3-го дня в заседании, созванном г. Градоначальником города Ростова н/Д для выработки способа сохранения порядка в г. Ростове н/Д, на предложенный представителем организаций местным властям вопрос – признают ли они то Временное Правительство, которое в настоящее время существует в Петрограде, как правительство, – г. Градоначальник, г. начальник гарнизона заявили, что существующее в настоящее время Временное Правительство они признают и распоряжения его считают для себя обязательными, причем они считают необходимым не допускать никаких выступлений, которые угрожают безопасности и интересам отдельных лиц и учреждений, а равно тех выступлений, которые идут вразрез с интересами нового правительства.

Все мирные выступления, как излияния радостного чувства по поводу установления нового правительства, идущие в согласии с планами нового правительства, не должны встречать препятствий, и отношение полиции и войска к ним должно быть вполне корректным, охраняющим их от всяких провокационных попыток.

На предложение представителей организаций высказаться по поводу учреждения Комитета общественных организаций для содействия существующему правительству в безболезненном переходе к новому строю, все члены совещания высказались за необходимость ускоренного создания этого Комитета, а г. Градоначальник признал это допустимым к исполнению и просил указать тех представителей Комитета, к которым власть, в случае необходимости, может обратиться. Совещание указало и примерный состав членов Комитета общественных организаций и просило городских голов позаботиться сегодня же об избрании уполномоченных в этот Комитет.“

Днем состоялись многочисленные манифестации с участием рабочих, студентов и солдат. Полиция держалась в стороне. Никаких эксцессов не было. Всюду шли

митинги, избирались делегаты, обсуждались события. Шли митинги и в казармах с участием рабочих. Везде горячо обсуждались петроградские и московские события. Городовые оставались на своих местах, но нацепили на себя красные ленты. К ночи однако кое-где их согнали с постов. Полиция более или менее освоилась со своей ролью, деятельности никакой не проявляла, оставаясь на местах более для видимости. Один из приставов страшно волновался и несколько раз с ужасом сообщал мне: „От завода Аксай тронулась огромная толпа манифестантов с красными флагами. Что прикажете?“

— Оставьте их в покое и не препятствуйте. Прикажите полицейским держаться в стороне и никаких добавочных нарядов.

Тем не менее через некоторое время опять звонит:

— Манифестанты выходят на Садовую улицу. Я сообщил начальнику гарнизона, мне ничего не ответили. Может быть вы вызовете?

— Да вам уже объяснял полицмейстер, чтобы не вмешивались в дело манифестаций. Я вам тоже передал четверть часа тому назад – не волнуйтесь вы, ради Бога, оставьте в покое манифестации.

И опять спустя некоторое время тот же пристав бубнит по телефону:

— Толпа манифестантов проследовала через участок благополучно. Пела то-то, кричала то-то.

Впрочем, не один этот пристав лез ко мне в этот и последующие дни с разным вздором. Преимущественно интересовались можно ли разрешить собрание, сходку и т.п.

Вечером были получены телеграммы, извещавшие об утверждении Государем нового состава министерств, затем с уведомлением о состоявшемся отречении от престола. Ночью телеграф передал текст Манифеста об отречении с передачей трона Великому Князю Михаилу Александровичу и лишь утром следующего дня текст об отречении последнего.

4-го марта в 7 часов утра мне доложили, что приехал председатель Военно-промышленного Комитета Н. Е. Парамонов. Оказалось, что он приехал прямо с собрания Гражданского Комитета, длившегося всю ночь и только что закончившегося. Как потом выяснилось, Гражданскому Комитету было чрезвычайно трудно договориться и принять решение, выработать общую платформу. В общем, Совет Рабочих Депутатов сохранил за собой полную свободу действий и лишь впоследствии, после 10 марта, некоторая связь между Гражданским Комитетом и Советами Рабочих Депутатов была достигнута созданием общественного Комитета, в состав которого поровну вошли представители той и другой организации, но с председателем от Совета Рабочих Депутатов (Петренко). Впрочем, приезд Парамонова ко мне не был связан с вопросом внутреннего устройства организаций, а касался исключительно вопроса взятия под арест некоторых лиц, нахождение которых на свободе Комитет считал опасным. По словам Парамонова Комитет считал необходимым изолировать хотя бы до ближайшего понедельника (6 марта) следующих членов „Союза Русского Народа“: Костричина (редактор «Ростовского листка»), Смирнова (директор Нахичеванской электростанции) и купца Кошкина. На форме ареста не настаивали. Я высказался, что прошу в виде личного мне одолжения, не настаивать на аресте Костричина, ибо это могло бы носить характер сведения личных счетов с Костричиным, писавшем на меня доносы в Петроград. В отношении же Смирнова и Кошкина, полагал бы достаточным учреждения за ними надзора.

Парамонов уехал и около 10 часов сообщил по телефону, что с моими предложениями они согласны. Я отдал необходимые распоряжения полицмейстеру. В тот же день был получен от Смирнова проект обращения «Ростовского листка» к своим читателям, в коем содержалось заявление о признании Временного Правительства. Я передал об этом по телефону Парамонову, который ответил, что против печатания этого заявления Гражданский

Комитет ничего не имеет, но настаивает на необходимости оставить в силе меры по изоляции упомянутых деятелей „Союза Русского Народа“. Я передал полицмейстеру, чтобы Смирнову и Кошкину было объявлено о том, чтобы они не выходили из своих квартир впредь до особого разрешения и чтобы как за ними, так и за Костричиным был учрежден надзор. Когда Смирнов сам приехал ко мне, я уговорил его подчиниться этой мере и не выходить из дому, что по обстановке вызывается его же собственными интересами и даже безопасностью. Он мне обещал подчиниться, однако, как я узнал впоследствии, в тот же день нарушил обещание и отправился на заседание городской Думы.

Утром же 4-го марта в совещательном зале, по инициативе полицмейстера, собрались вместе с полицмейстером его помощники, пристава и начальники сыскного отделения. Полицмейстер просил меня принять участие в их совещании для выяснения отношения полиции к событиям и её положения.

Я сказал, что их несомненно интересуют два вопроса: во-первых, как вести себя сейчас, в эти дни, пока полиция еще не расформирована и, во-вторых, что будет с нынешним составом полиции в ближайшем будущем? По первому вопросу повторил свои указания, данные полицмейстеру: проявлять полную сдержанность и осторожность во всех своих действиях, памятуя, что всякая резкость, бестактность и непродуманность поведения легко могут быть истолкованы как противодействие или протест против нового строя государственной жизни. На вопрос, как поступать городovým в тех случаях, когда студенты или рабочие прогоняют их с постов, что имело место вчера вечером и сегодня ночью, я ответил: „Сходить беспрекословно с поста, приставу же немедленно давать знать по телефону в управление Гражданского Комитета“. В дальнейшем же все согласились, что городové могут стоять лишь на тех постах, на которых вместе с ними будут выставлены милиционеры. Вообще же, поскольку служба полиции теперь не может осуществляться самостоя-

тельно и меры поддержания порядка в городе должны быть согласованы с деятельностью Гражданского Комитета, ибо судя по обнародованным директивам правительства, полиция будет муниципальной местной городской общественной организацией, то я нахожу необходимым, чтобы полицмейстер подполковник Иванов непосредственно обратился к председателю Гражданского Комитета и через него установил формы взаимоотношений между полицией и органами Комитета. Снова повторив указание о непрепятствовании манифестациям и воспрещении провокационных действий, я перешел ко второму вопросу. По существу этого второго вопроса ничего определенного я сказать не мог и пояснил, что будущее чинов полиции мне совершенно неизвестно, точно так же, как и мое собственное будущее. Оно зависит всецело от тех указаний правительства, которые пока еще не даны. Предполагаю, что нынешняя полиция будет расформирована, должность градоначальника – упразднена. Сужу об этом на основании тех же общих директив правительства, которые даны пока в отношении структуры будущей полиции. Будет ли кто-либо из нынешней полиции принят в новую, переформированную, – сказать не могу, думаю, что скорее нет. Какова вообще судьба нынешнего состава полиции – не знаю. Полагаю, что государство не лишит нас выслуженных по закону прав, то есть сохранит нам годовое содержание со дня расформирования, а при увольнении в отставку даст выслуженную по закону пенсию. Но это лишь мои предположения. Что касается вопроса – можно ли классным чинам полиции подавать теперь же прошения об увольнении в отставку, то я лично не подаю такого прошения, дабы это не имело вида нежелания служить новому правительству. Но теоретически, каждый имеет право ходатайствовать об отставке тогда, когда он этого желает. В отношении военнообязанных классных чинов и городских следует ждать распоряжения правительства, которое вероятно последует на этих днях.

Разошлись пристава с тяжелым чувством и весьма рас-

строенные. Повидимому, у многих в тайниках души теплилась надежда, что я их успокою, что служба их останется в старых условиях и т.п. Мои высказывания уничтожили всякие иллюзии касательно будущего, подготовили к неизбежному, к тому, к чему я сам был готов совершенно искренне: устранить себя, не цепляться за прежнее служебное положение, не мешать замещению нас ставленниками новой власти.

Как выяснилось впоследствии, полицмейстер, после собрания приставов, отправился к председателю Гражданского Комитета. На свои вопросы он не получил определенных ответов. Сформировавшийся Совет Рабочих Депутатов тотчас же приступил к созданию милиции, резко подчеркнул свою независимость от Гражданского Комитета. Последний почувствовал, что власть выскальзывает у него из рук из-за отсутствия низших исполнительных органов и потому, что нарождавшаяся солдатская организация с первых же шагов выразила стремление к слиянию с Советами Рабочих Депутатов.

После собрания приставов я составил проект приказа по градоначальству, следующего содержания:

4 марта 1917 г.

Гор. Ростов на Дону.

Объявляя при сем манифесты об отречении от Престола Государя Императора Николая II и Великого Князя Михаила Александровича, считаю необходимым дать чинам управления Градоначальства и чинам полиции нижеследующие пояснения:

1) Все распоряжения исходящие через органы власти, установленные и устанавливаемые Временным Правительством, возникшим по почину Государственной Думы и облеченному всей полнотой власти, являются обязательными к исполнению для чинов управления градоначальства и полиции, на все время, пока чины эти остаются на местах и не получили указаний Временного Правительства о ликвидации своей деятельности.

2) Деятельность полиции по преследованию уголовных преступлений и поддержанию наружного порядка должна быть в тесном согласовании и в полной зависимости от деятельности Ростово-Нахичеванского н/Д Гражданского Комитета, сформировавшегося из местных общественных организаций для содействия Временному Правительству в безболезненном переходе к новому государственному строю.

Серьезное и спокойное отношение населения в эти первые дни восприятия акта великого государственного значения, свидетельствуя о высокой политической зрелости всех слоев граждан Ростово-Нахичеванского Градоначальства, дает уверенность в том, что при полном понимании существующего положения и служебном такте исполнение настоящего указания явится выполнимым.

3) Вся прежняя деятельность и канцелярское дело-производство чинов наблюдательного состава отдельного корпуса жандармов, впредь до получения указаний Временного Правительства, в районе Ростовского н/Д Градоначальства должна быть прекращена.

В заключение выражаю уверенность, что если распоряжением Временного Правительства чины Градоначальства и полиции, годные к военной службе, будут призваны к службе в войсках, то каждый из нас отнесется к этому призыву как к великой чести служить в рядах защитников дорогой нам Родины и без всякого промедления явится к воинским властям.“

Проект был составлен 4-го марта. На всякий случай я командировал чиновника особых поручений Павловского в Гражданский Комитет для выяснения, не последует ли с его стороны каких-либо возражений. Возвратясь, Г. Павловский доложил мне, что Гражданский Комитет уклонился от ответа на вопрос. Совет Рабочих Депутатов, к которому по собственной инициативе обратился Павловский, высказался, что подобного рода распоряжения он считает бесцельными, ибо ни сообразовы-

вать, ни согласовать свою деятельность с действиями Гражданского Комитета или прежней администрации Совет не будет и считает вообще несуществующей прежнюю администрацию.

Так как полиция к этому времени уже была подчинена контролю Совета Рабочих Депутатов, выславшего в полицейское управление и во все участки своих эмиссаров для надзора за полицией, то я нашел более соответственным моменту не рассылать приказа, тем более, что все те указания, которые он содержит, уже были мною даны в словесной форме.

Повидимому настал момент некоторой растерянности и полной неуверенности в завтрашнем дне Гражданского Комитета. Немудрено, что полицмейстер не получил там ответов на свои вопросы. Он решил переговорить непосредственно с Советом Рабочих Депутатов. По его словам, приход его в Совет Рабочих Депутатов был встречен очень сухо. Подполковник Иванов попросил разъяснить ему роль полиции и пояснил при этом, что он отдает себя в полное распоряжение Совета и ручается за полную лояльность подведомственных ему чинов, даже готов быть заложником-поручителем за них. „Вы можете сделать со мной, что хотите, — говорил Иванов, — арестовать меня, посадить меня в тюрьму, но не делайте зла остальным чинам полиции, которые совершенно безвредны для вас теперь, а раньше служили по совести населению, жили с ним хорошо, ни в какую политику не вмешивались, поддерживали порядок и боролись с уголовной преступностью. Ни о каких реакционных попытках восстановления старого строя никто из нас не помышляет, имеющие возможность пойти на фронт охотно пойдут на фронт, лишь бы семьи их были сколько-нибудь обеспечены. Вы можете и сейчас заменить нас милицией, но имейте в виду, что полицейское дело не так просто и оно вовсе не исчерпывается стоянием на постах. Полиция ведет огромное делопроизводство и прекращение в один день её функций отразится на успешности учета и взыскания податей и многом другом.“

Объяснения подполковника Иванова были терпеливо выслушаны и в конце концов Совет пришел к заключению, что полиция пока может продолжать свою деятельность совместно с милицией и под контролем Совета Рабочих Депутатов, причем работа в участках и в участковых канцеляриях должна вестись под постоянным контролем со стороны назначенных для этого Советом комиссаров.

Об этом я узнал через два дня, так как до 6-го марта полицмейстер ко мне не показывался. Я знал лишь, что на постах с городовыми уже стоят милиционеры, что в полицейском управлении и в участках имеются комиссары Совета Рабочих Депутатов для наблюдения за полицией, что классные и низшие чины собирались на митинг с делегатами от рабочих и солдат, что руководство полицией от меня отошло.

В канцелярии Градоначальства обычный строй также изменился. Чиновники ничего не делали, обсуждали свое положение. Хотя приходили еще некоторые просители, поступали с почты бумаги и кое-что надо было исполнять, писать резолюции, но было ясно, что работа идти не может. Я мог передавать распоряжения полиции пока была полиция, но никаких распоряжений милиции, конечно, отдавать не мог.

Рассмотрение и утверждение городских постановлений, контроль над продовольственными делами отпадали в силу правительственных указаний о намечающемся подчинении распорядительных и исполнительных властей органам самоуправления. Чувствовалось, что наш аппарат дальше работать не может, что учреждение уже парализовано.

5-го марта в воскресенье занятия в канцелярии не происходили. Я оставался в квартире. Телефон против обыкновения молчал. Около часу дня ко мне прибыл товарищ председателя Гражданского Комитета Н. Е. Пармонов с членом Комитета присяжных поверенных Шиксом. Они заявили, что Гражданский Комитет постановил изъять всю секретную переписку из канцеля-

рии Градоначальника и предъявили письменное постановление Комитета. Я вызвал по телефону управляющего канцелярией и на постановлении Комитета сделал надпись с указанием управляющему канцелярией выполнить это постановление.

Парамонов и Шикс отправились в канцелярию и там приняли дела. Немного погодя в канцелярию спустился и я и отдал, вынутый из моего стола шифр и две секретных циркулярных бумаги Департамента полиции.

Создалось еще более тягостное положение. Я пока существовал как Градоначальник, но подчинялся, силою вещей, Гражданскому Комитету, не будучи его органом. Надобно было что-нибудь предпринять, дабы выйти из этого положения неопределенности. Но что? Устранить себя и сдать должность городскому голове или председателю Гражданского Комитета? Но как взглянет на это дело правительство? Просить об отставке – могут объяснить протестом против нового уклада. Заболеть – но это значило бы передать тот же трудный вопрос на разрешение помошника, свалить с себя на другого. Я сознавал, что и Гражданский Комитет, и Совет Рабочих Депутатов тоже должны быть заняты вопросом, в какую позицию им стать в отношении Градоначальника и что они одного могут только желать – чтобы прежнего градоначальника не было. Он хотя и не мешает, но неудобен для них. Даже с точки зрения известного партийного самолюбия как-то неудобно. Читают в газетах со всех сторон известия о том, что губернаторы и градоначальники прежде всего устраняются местными организациями: где убиты, где посажены в тюрьмы, где арестованы домашним арестом. А в Ростове все по-прежнему остался тот же градоначальник, ставленник прежней власти. Выходит, что общая директива революции для всей страны как-будто не исполняется в Ростове. Все это держало меня в последние дни в нервном напряжении. Спасибо жене, которая вела себя все время очень спокойно, уверяя, что у нее какое-то внутреннее убеждение, что все обойдется для нас благополучно, и морально меня поддерживала и ободряла.

6-го марта в 10 часов утра принесли агентурную телеграмму с правительственным распоряжением об устранении от должностей всех губернаторов и вице-губернаторов с передачей исполнения их обязанностей председателям земских управ. Известие прямо радостное для меня. Правда, в нем не упомянуты градоначальники, но это само собой понятно, смысл правительственного распоряжения ясен: передать власть на местах от старших правительственных чиновников старшим представителям общественности. Должность градоначальника в одном классе должностей и одинаковая по служебному положению с губернаторами и старше вице-губернаторской. Понятно, что законодатели не могли иметь в виду устранение губернаторов, но не устранять градоначальников.

Вопрос кому сдать должность не вызывал у меня особых сомнений. Если придерживаться буквы правительственных распоряжений, то должность следовало передать городскому голове. Но Ростовская городская Дума слишком скомпрометировала себя в глазах общественности, прогрессивных кругов и всего населения как принадлежностью большинства её состава к монархическим организациям, так и неспособностью и бездеятельностью в городском хозяйстве и в особенности в продовольственном деле. Несомненно, власть должна была быть передана в руки, способные её удержать, в те руки, которые в данное время являлись больше всего хозяевами положения, т.е. Гражданскому Комитету.

Я обдумывал форму приказа по градоначальству об устранении себя с должности и передачи канцелярии в ведение Гражданского Комитета, когда председатель этого Комитета Зеелер попросил меня по телефону зайти в канцелярию. Спустившись вниз и проходя в свой кабинет я увидел, что в зале совещаний собрались чины канцелярии градоначальства.

Зеелер заговорил со мной о неудобстве создавшегося положения, о требовании рабочих депутатов относительно устранения меня с должности и желании Гражданского Комитета, чтобы градоначальство осталось в

руках Комитета, а не перешло в руки рабочих депутатов.- Видя, что Зеелер приехал несомненно с целью принять от меня должность Градоначальника, я не дал ему договорить и сказал, что положение мое теперь в должности градоначальника ненормально, и тягостнее всего для меня то обстоятельство, что не имея распоряжения от Временного Правительства, я не имел права устранить себя. Однако полученная только что телеграмма об устранении правительством губернаторов дает мне полное основание передать власть в руки Гражданского Комитета, что я полагал сделать тотчас же, изданием соответствующего приказа по градоначальству. Тут же я написал черновик приказа и послал его переписать, а затем попросил Зеелера дать мне возможность проститься со служащими в градоначальстве, после того как он с ними переговорит. Он попросил сделать это раньше и я вошел вместе с ним в зал.

Объявив содержание отданного приказа, я поблагодарил чинов градоначальства за службу при мне и за существовавшие всегда между нами дружественные отношения, пожелал им благополучия и предупредил, что им предстоит ныне еще более интенсивная работа, в какой я желаю им полного успеха на пользу дорогой Родине. Затем пожал каждому руку и вышел из зала. Никто не сказал мне в ответ ни одного слова. Когда я вошел в кабинет, то услышал, как после нескольких фраз Зеелера заговорил инспектор врачебной управы действительный статский советник Благовидов. Этот господин, водивший постоянно компанию с костричинцами (он состоял, между прочим, старшим врачом в лазарете „Союза Русского Народа“) распространялся в своей речи о чувствах радости и удовлетворения.

Управляющий канцелярии Андреев не явился в этот день по нездоровью. Помошник Градоначальника полковник Ильин так же почему-то не был. Говорят, он нашел мое самоустранение юридически неправильным и предложил Гражданскому Комитету свой ум и знания на пользу новому правительству. Местные же газеты со-

общили об его устранении по распоряжению Гражданского Комитета.

Передав Зеелеру печать градоначальства и шифр я вышел из служебного кабинета и больше в него никогда не заходил. Жизнь градоначальства пошла, минуя меня, и о событиях в городе я узнавал кое-что из газет. Я отсиживался дома и нигде не показывался. 7-го марта в помещении градоначальства состоялся митинг служащих с участием представителей от Совета Рабочих Депутатов, на котором служащие постановили примкнуть к Совету и избрали в него своих делегатов.

14-го марта я получил телеграмму за подписью товарища министра внутренних дел Щепкина, следующего содержания: „Временное Правительство устранило Вас временно от исполнения обязанностей градоначальника Ростова н/Дону и назначило на эту должность председателя Гражданского Комитета Зеелера, которому сдайте должность“. Телеграмма подтвердила, что предыдущие мои решения были совершенно правильными. Кроме того был разрешен и вопрос содержания. Как устраненному временно, содержание выплачивается мне пока на прежнем основании. О дальнейшем я прекращаю запись, ибо в жизни градоначальства я уже не играл роли непосредственного участника.

14 апреля 1917 г.

Б. К. ГАНУСОВСКИЙ

„10 ЛЕТ ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ“

Эту книгу следует отнести к разряду т. н. „страшных книг“ Автор книги — старый эмигрант из „первой волны“, в 1943 году, желая активно бороться против коммунизма, поступил добровольцем в формировавшуюся Казачью Кавалерийскую дивизию, позднее превратившуюся в Казачий Кавалерийский корпус.

По окончании второй Мировой войны этот Казачий корпус был выдан англичанами в руки Сталину. Был выдан на расправу и автор этой книги. Он рассказывает в своей книге о трагических годах, проведенных в советских концлагерях. Книга эта посвящена миллионам мучеников, страдавших там вместе с ним и продолжающим страдать и сейчас.

В 1955 году случилось чудо: наступила „хрущевская оттепель“ и автору, никогда не бывшему советским подданным, удалось вырваться из советского „рая“. Прощаясь со своими лагерными друзьями, он дал им обещание рассказать „свободному миру“ о том, что он видел и пережил там, ничего не прибавляя и не выдумывая.

Русское книгоиздательство „ГЛОБУС“ в Сан-Франциско издало воспоминания Б. К. Ганусовского с 14 фотографиями и 6-ю зарисовками из лагерной жизни, сделанными художником Юрием Зигерн-Корн, так же отбывшем десятилетний срок в советских концлагерях.

Книгу можно выписать из книгоиздательства „ГЛОБУС“ по адресу: „Globus Publishers“, P. O. Box 27471 San Francisco, Ca. 94127, USA. Tel. (415) 668-4723.

Цена книги 16 ам. долларов и 1 ам. доллар за пересылку.

ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН*

ПОВЕСТЬ

6

Русаков осторожно спускался ко мне.

— Больно? — спрашивал он, трогая мою раненую ногу.
— Здесь? Я сейчас, потерпи немного.

Он стащил с меня сапог и принялся перевязывать ногу. За все это время я ни разу не открыл глаза. Боль жгла сердце и сверлила мозг.

— Рана — небольшая, так, пустяк! Царапина!.. Ну и медведь же ты! Как это ты полетел вниз? Одно слово — медведь.

Я открыл глаза.

— Ладно, ладно, не ругайся! Это я так, к слову. Лежи здесь до тех пор, пока наши не пойдут в атаку. Мне твоя помощь не нужна. Через час наши будут атаковать. Где твой бинт? Давай его сюда — мне бинт тоже может пригодиться.

Разыскав бинт, Русаков еще раз потрогал мою раненую ногу и стал карабкаться наверх. Когда он скрылся в наступившей на мгновение темноте, я закрыл глаза и съежился от боли, холода и одиночества. Я понял, что во всем мире я — один, что те тысячи людей, которые находятся вокруг меня — в окопах, в воронках, в блиндажах, — никакого отношения ко мне не имеют. Я ушел от них в другой мир — мир сплошного страха. Я боялся. Нет, я не смерти боялся, я боялся того мира, в котором очутился. Мне отчетливо представлялось, что только я один понимаю сущность жизни, в которой, кроме страха, нет

* Окончание. Начало см. «Вече» № 14.

ничего. Свет – это мираж, его в действительности никогда не было. В той действительности, в которой я нахожусь сейчас, есть только темнота, заполненная страхом. Мне никакого дела нет до людей, находящихся там, наверху, мне даже нет дела до Русакова. Пусть он ползет к своему доту. Хорошо, если доползет, но хорошо также, если не доползет.

Чего я боюсь? Всего. Я боюсь и того, что я человек, а не зверь, боюсь также того, что я понял подлинную сущность жизни. Лучше было бы, если бы её не понимал.

Русаков уже перебрался через речку и карабкался по обрыву. Он тоже считает, что понял суть жизни. Все так считают, но в действительности только мне одному это открылось.

Когда наши пойдут в атаку? Через час? Кажется, боль утихла. Скоро должно наступить утро.

Я лежал неудобно – левая рука затекла, – но я не решался пошевелиться, чтобы не всколыхнуть притихшую боль в ноге, в ушах и в голове.

Наши начали артиллерийскую подготовку. Сначала вяло, с неохотой, ударил десяток катюш, потом из Траумштейна дали пять-шесть пушечных выстрелов. Немеккая сторона по-прежнему непрерывно грохотала и наши жидкие взрывы будто терялись. Но с каждой минутой наш огонь становился мощнее. Дрожащая земля начала стонать

Время от времени я открывал глаза и смотрел на молочно-серое небо: огненный вал перекачивался через него, оставляя за собой запах серы; в разных направлениях вспыхивали пунктиры трассирующих пуль; шипели и образовывали разноцветные облака ракеты.

Огненные валы участились. Они набегали друг на друга, небо превратилось в раскаленный добела громадный котел.

Казалось, больше нет места ни для пуль, ни для взрывов. Но в бой включались все новые орудия – они уплотняли и уплотняли небо, пока не превратили его в крошечный ад.

Немцев уже не было слышно. Земля гудела, гудела, гудела и стонала, а огонь не утихал. Я оглох, ослеп и онемел, а наши подбавляли и подбавляли огня. К пушкам присоединились новые батареи катюш и минометов. Пушки били по тылам, катюши поливали огнем окопы и блиндажи второй и третьей линии обороны, минометы прицеливались к переднему краю. Математика, такая же как и у немцев, работала теперь на нашей стороне.

Я же находился в своем мире – в мире страха и одиночества. Светопреставление, разыгрывавшееся над воронкой, казалось мне далеким и ненужным. Немцы напрасно сопротивлялись, перевес был явно на нашей стороне. Это уже не была война, а было убийство. Так кошка играет с мышью, прежде чем прикончить её. Кроме перевеса в силе, в технике и даже в математике, на нашей стороне была и история.

Я хотел продолжить свою мысль и завершить её логическим выводом, но тут началось такое, такое, такое... Наши пошли в атаку! Немцы, сопротивляясь, самоуничтожали себя. Вместо того, чтобы сдаться, они открыли по нашим рядам беглый пулеметный и автоматный огонь. Это был дождь пуль – густой, свистящий и беспощадный.

— Ура! — кричали наши.

Я слышал это „ура“ – отчаянное, дикое, победное – и удивлялся, что слышу его. К „ура“ присоединились стоны, проклятия, вопли и еще какие-то гортанные, преисторические звуки, ни на что не похожие, но выразившие с более определенной и четкой ясностью страх смерти, чем все иные звуки. Это были те звуки, которые издавали наши преисторические предки, еще не умевшие говорить, выражать свои мысли, но уже познавшие смерть.

Атака затянулась. Наши, добежав до немецких окопов, накапливали силы для нового броска вперед – на вторую линию обороны. По нейтральной полосе бежали, ползли и карабкались все новые и новые солдаты. Сколько человек из нашего батальона осталось в живых? Кто знает?

Кто мне может сказать?..

Я открыл глаза. В воронку ко мне спускался санитар с сумкой, зажатой в зубах. Руками он балансировал, чтобы не сорваться вниз.

— Живой?

— Живой.

— Тяжело ранен?

— Не знаю.

— Давно лежишь?

— Давно.

Спустившись ко мне на дно воронки, санитар отложил в сторону свою сумку и стал осматривать мою ногу.

— Больно?

— Терпимо.

— Вот как! У тебя кроме раны еще и вывих. Смотри, как вспухла щиколотка. Ты из какого батальона, из уваровского?

— Да.

— Тут рядом лежит ваш командир. Убитый. Пулей в голову. Строгий был командир. И солдат не очень жалел. Так все говорили. Вообще вашего брата здесь лежит – не сосчитать!

Закончив осмотр моей раны, санитар позвал своего напарника и они вдвоем выволокли меня из воронки. Должно быть, я долго лежал в воронке, оттого потерял ощущение времени. Было утро – туманное, задымленное и неуютное, утро, все еще простреливаемое насквозь пулями, – и нашими, и вражескими.

Санитары, прижимаясь к земле и пряча головы за насыпи, подбирали раненых. Мертвых они не трогали. Я обвел взглядом поле боя и тут же закрыл глаза – везде убитые, везде, везде, везде! Одни лежали с открытыми глазами и высунутыми языками, другие – уткнувшись лицом в снег, третьи – прижимали к животам мертвые руки. Были и такие, у которых не было ни рук, ни ног. Под каждым из них – замерзшая лужа крови. Я видел их, не открывая глаз. Особенно долго мерещился мне один, у которого не было головы.

Санитары положили меня на носилки и понесли на перевязочный пункт. Это был большой блиндаж, ярко освещенный керосиновыми лампами. На перевязочном столе никого не было. Фельдшер — молодая и румяная девушка лет двадцати-двадцати двух приказала санитарам положить меня на стол. Сняв с моей ноги перевязку, она промыла рану спиртом и вновь забинтовала. Потом она прощупала мою опухшую щиколотку.

— Пустяк, — проговорила она певучим голосом и погладила меня по голове. — Через два дня вернетесь в строй.

Санитары сняли меня со стола, положили опять на носилки и вынесли из блиндажа. Они долго несли меня через окопы, поля, рвы и насыпи и принесли в Траумштейн в санбат. В Траумштейне не было неразрушенных домов и госпиталь помещался в подвале бывшей тюрьмы. Меня, как легко раненого, не знали куда определить — все помещения были заняты тяжело ранеными. Дежурная сестра временно разрешила мне остаться в её углу. Я расстелил на полу шинель и лег с намерением заснуть хотя бы на два-три часа. Ведь я почти не спал за последние дни. Усталость сковала меня, — я не чувствовал больше боли, не хотел ни есть, ни пить, не хотел даже ни о чем думать, одного лишь хотел — спать.

Я засыпал с жадностью: сначала долго падал вниз, в темную яму, потом вздрагивал, открывал глаза, тут же закрывал их и опять падал в яму. Я не знаю, как долго длился мой тяжелый и тревожный сон! Может быть, я спал бы еще целые сутки, если бы меня не разбудил Русаков. Он разыскал меня в госпитале и когда я открыл глаза, он стоял надо мной и закуривал сигарету.

— Как дела, профессор? — спросил он, улыбаясь краешками губ. — Жив и здоров? Я тогда тебе говорил — сиди в воронке и жди. Вообще тебе повезло. И рана у тебя пустяшная, и ничего ты не видел. Наши все погибли. Рашид погиб — пулей ему пробило голову. Панасенко взорвался на mine. Говорили, что ему оторвало ноги, что он все просил перевязать его. Токареву прострелили живот пулеметной очередью. Володьку-снайпера немец

убил из пистолета в окопе. Добрался-таки Володька до окопа, а дальше не мог, не хватило духу. Костю, кажется, видели живым за речкой, а что с ним случилось потом — никто не знает. Пропал Костя, может быть убили, а может быть, только ранен. Жалко Алешку! Теперь у меня нет связного. Глупо, очень глупо погиб Алешка. Ты знаешь, он был сектантом и ему запрещено было убивать. Когда наша рота пошла в атаку, Алешка пошел вместе со всеми. Немцы как пальнули, как пальнули. Алешка испугался и давай бежать назад. Может быть все обошлось бы, если б не лейтенант Опацкий. Он заметил, что Алешка побежал назад и закричал: „Стой!“ Алешка ничего не слышал и бежал. Опацкий снова закричал: „Убью, остановись!“ И убил. Говорят, весь диск всадил в него. Алешка давно был мертвым, а он, гад, все стрелял и стрелял в него. Злой он был, этот лейтенант! Я не любил этого лейтенанта. Скажи, разве надо было убивать Алешку за то, что испугался он. Разве лейтенант не мог сделать вид, что ничего не заметил? В таком аду и впрямь можно ничего не заметить. Так нет, захотел, сволочь, выслужиться! Смотрите, мол, какой я бдительный! Идет бой, люди умирают, а я бдительность проявляю! Если бы того лейтенанта не убили бы немцы, сам бы убил его. За Алешку.

— Что с капитаном Коваленковым? — спросил я, придя в себя. — Неужели и его убили?

— Нет, его не убили. Всех офицеров убили, а он остался. От наших трех штрафных батальонов в живых осталось не больше сотни человек. В эту сотнюходишь и ты. Коваленков говорил мне, что будет сформирована штрафная рота и он будет командовать ею. Говорил еще, что ему не везет. Если бы, говорил, еще сотни две в живых осталось, можно было бы сформировать батальон. И тогда он командовал бы батальоном. А так, что? Опять рота.

— Как твой дот? Взорвал ты его?

— Взорвал. И награду получу за него. Коваленков говорил, что если не дадут мне Звезду, Сталину напишет.

В это время подошла к нам сестра. Она внимательно, по-хозяйски осмотрела Русакова и приоткрыла рот, чтобы что-то сказать. Но, видимо, раздумала, и так ничего и не сказала. Она была очень общительной, я чувствовал себя в её присутствии, как дома. Назови она меня своим братом, я тут же поверил бы ей. Вообще она показалась мне очень чистой, неиспорченной девушкой.

— Ну как, Маша? — зверем кинулся к ней Русаков. — Скучаешь?

Глаза у него загорелись, в теле появилась напряженность. Я испугался. Мне показалось, что сестра рассердится.

— Никакая я не Маша, — улыбнулась она и рукой поправила свои пепельные волосы. — Меня зовут Клавой. А если и скучаю, то тебе-то что?

— Я не могу видеть, когда девушки скучают, — подлаживаясь под игривый тон Клавы, ответил Русаков.

Между ними завязался тот разговор, который словами ничего не выражает, но в котором за каждым словом скрывается намек на обещание, на согласие.

— Вечером не будешь дежурить? — спрашивал Русаков.

— Буду, — отвечала Клава.

— Может, попросишь кого вместо себя?

— Могу и попросить. Но стоит ли?

— Стоит. Не пожалеешь.

— Я в шесть кончаю.

Русаков взглянул на золотые часы и вытянулся в струнку.

— Слушаюсь! В шесть ноль-ноль. Если не прийду, знай, что меня убили.

Я взглянул на Клаву, на её погоны. Видимо, она была студенткой-медичкой, мобилизованной в добровольном порядке. Мне вдруг стало жаль её. Такая молодая и такая опытная, по-фронтовому решительная и деловая. И во всем виновата не она, а война. И стало мне обидно за тех бойцов, которые сегодня погибли. Можно было подождать со встречами. Это так — по совести. А не по совести? Хотя Русакову и везет, но и его могут убить каждую

минуту. Клава тоже под пулями ходит. Ну что ж – пусть встречаются. И все же обидно и за Клавину молодость, и за тех, что сегодня погибли.

Жизнь, видимо, проще, чем я думаю.

7

Капитан Коваленков был назначен командиром роты, сформированной из остатков трех батальонов. Когда я на пятый день вернулся в его распоряжение, он встретил меня с распростертыми руками.

— Как себя чувствуешь? Нога не болит?

— Ничего, товарищ капитан, ходить могу.

— Я почему спрашиваю – скоро нам опять собираться. Фронт продвинулся всего на тридцать километров вперед. Немцы успели организовать оборону. Вот наши и боятся, чтобы они не слишком сильно укрепили её. Короче говоря – нам сегодня ночью выступать. Как, сможешь?

— Если скажу, что не смогу, разве от этого изменится что-либо?

— Конечно, нет. Мне дорог каждый боец. К линии фронта нас подбросят на грузовиках.

— Разрешите идти?

— Подожди. Я давно хотел поговорить с тобой относительно Русакова. Ты, ведь, давно знаешь его.

История повторялась. Ведь и майор Уваров спрашивал меня про Русакова. Я рассердился.

— Русаков – славный парень! Он может убить и родную мать, если она перейдет ему дорогу. Он может убить меня, может убить вас. Что я еще могу сказать про него? Раньше, до революции, наши солдаты были другими. У них было сострадание к врагу. Русаков – бессердечный. Мне говорили, что он никого в плен не берет, даже тех, кто подымает руки и переходит к нам. Не подумайте, что я защищаю немцев...

— Так, так, — перебил меня капитан, сдвинув брови.

Мне показалось, что он уловил мою мысль и начинает понимать меня.

— Ты хочешь сказать, что мы должны оставаться людьми даже в этой войне — в войне с эсэсовцами? Так, что ли, понимать тебя?

Капитан помрачнел.

— Да, мы должны оставаться людьми даже в этой войне.

— По твоему выходит, что мы обязаны нянчиться с немцами, расстилать перед ними коврики — пожалуйста, будьте любезны, покорнейше просим! Вы нас били, расстреливали в лагерях, морили голодом, забирали наших жен и детей к себе на каторгу, — так это ничего, мы вам простили, мы великодушны, у нас доброе сердце. Так, что ли, тебя понимать? Как ты смеешь в моем присутствии жалеть немцев?! Сволочь ты! Известно ли тебе, что они повесили мою жену в Брянске на телеграфном столбе? Или тебе это неизвестно?

Он вынул из кобуры пистолет.

— Говори дальше! Я хочу понять тебя.

— Ненависть застилает разум, она — плохой советник.

— Говори, сволочь! Иначе убью тебя. Клянусь.

— Меня еще в тридцать восьмом хотели убить. Когда забирали моего отца, один чекист подошел ко мне и наставил на меня пистолет. „Тебя тоже прикончим!“ — сказал он мне. Инициативный был чекист! С тех пор мне постоянно угрожают расстрелом.

— Почему ты жалеешь немцев? Отвечай. Я хочу знать, по-че-му ты жалеешь их? Все их ненавидят, ты один — жалеешь их!

— Мне нас жаль. Бог с ними, с немцами. Они заслужили кару и понесут её. Но когда мы расстреливаем тех из них, которые подняли руки и сдаются в плен, — я жалею нас. Мы не имеем права этого делать.

— Право, право! Какое право? Разве они соблюдали его, когда держали нас на сорокаградусном морозе в лагерях и ничем не кормили неделями? Слышишь, не-де-ля-ми! Я сам сидел в таком лагере. Мы спали на снегу. Каждое

утро приходили спецкоманды, подбирали замерзших, грузили на сани, как дрова, и увозили в старые окопы. Там они сбрасывали трупы, даже не засыпая снегом.

— Знаю. Я из такого лагеря убежал к партизанам.

— Так почему же ты защищаешь немцев? Я не могу понять тебя.

— Всякой ненависти должен быть положен предел. Даже Грозный после того, как передумал со своими опричниками тысячи невинных людей, опомнился и отменил опричнину.

— При чем здесь Грозный? Я тебя спрашиваю про немцев. Отвечай!

— Я много думал о разрушительных силах войны. Не так все это просто, как кажется с первого взгляда. Война — стихия. Она может всех нас уничтожить, если её не ограничивать.

— Так, так. Как же, по-твоему, её ограничивать?

— Во все времена её ограничивали. Теперь в наших условиях, мы должны брать в плен тех немцев, которые поднимают руки и не убивать их, а отсылать в лагеря, кормить и заставлять отстраивать то, что ими было разрушено. Между прочим, насколько мне известно, даже приказ такой есть.

— Приказ, приказ! Кто станет выполнять такой приказ?

Капитан начинал успокаиваться. Злоба, вспыхнувшая в нем так неожиданно, постепенно улеглась. Надолго ли? Кто виновен в столкновении, происшедшем между нами? Он? Я? Скорее всего я. К сожалению, я до сих пор не научился понятно и убедительно излагать свои мысли. Почти всегда правда была на моей стороне. Но как объяснить её словами? Я и сейчас чувствую всем своим нутром, что правда на моей стороне. Можно ли её объяснить словами? Не допускаю ли я здесь какого-то просчета?

— Ничего ты мне не объяснил, а вот рассердить — рассердил.

— Нельзя объяснить, когда не хотят понять.

— Так, так. Но ты лучше не объясняй, никому не объясняй, даже не намекай. Убьют, обязательно убьют, и

будут правы. Жалеть врага на войне не полагается. Можешь идти.

Я вытянулся, приложил руку к шапке, повернулся по-уставному и вышел из штаба роты. Стоявший за дверью часовой недружелюбно покосился на меня, но заговорить со мной не осмелился. Раз капитан отпустил меня, значит – порядок, никаких мер воздействия применять не следует. А применить такие меры ему хотелось бы, – это я заметил в его взгляде.

Я ничего преступного не говорил капитану, я даже не упоминал о жалости к немцам. Правда, я говорил, что мы должны оставаться людьми даже в такой войне. И это было все, больше я ничего не говорил. А он взорвался как мина. За что? Как плохо я разбирался в людях. Раньше мне казалось, что капитан – хороший человек, я даже подумал, что потому такой скрытный, что не хочет показывать свою доброту.

Сейчас все то, что есть наиболее человеческое в человеке, беспощадно преследуется. Я тоже был в плену. И когда я видел, как немцы расстреливали с вышек тех наших солдат, которые по двадцать суток ничего не ели и поэтому шли на проволочные заборы, не обращая внимания ни на какие запреты, – я от этого не озлоблялся, напротив, мне становилось стыдно, что я – человек, что мы, люди, хуже животных. Именно тогда я клялся, что если выживу, всегда буду говорить о бессмысленности тирании, проповедующей жестокость.

Теперь нельзя разобраться, кто первым стал жестоким, – мы или немцы. Обоюдные обвинения ни к чему не приведут. Теперь срочно надо принимать меры, которые остановили бы жестокость.

Но что я могу сделать? Никто не хочет даже выслушать меня.

Весь вечер я думал о жестокости. Потом я стал думать о ненависти, породившей жестокость. Партия учила нас, что ненависть к врагу – священное чувство. В мирное время мы были равнодушны к этому. Теперь нам не до смеха. Даже люди, которым советская власть причинила

больше горя, чем немцы, не хотят и слышать о сострадании. Почему? В начале войны, в первые её дни, многие из нас смотрели на немцев как на освободителей. Может быть потому, что они обманули нас, мы жестоко возненавидели их? Не знаю, ничего не знаю. Советская власть – наша власть! – нарочно послала все три батальона на верную гибель, но мы её за это не ругаем, – мы заслужили свою гибель. Сволочи, все – сволочи. Ничего мы не заслужили.

8

Наши танки прорвали временную немецкую оборону. Мы шли за танками и очищали местность от остатков врага. Наша рота вошла в небольшую силезскую деревню, еще дымившуюся от пожаров. Уцелевших домов было немного. Пахло гарью и навозом. В темных углах дворов прятались куры, в хлевах мычали коровы, на задворках лаяли собаки.

Мы шли небольшими группами, заглядывая в уцелевшие дома и на огороды. Я шел с Русаковым.

Канонада звучала далеко впереди. Здесь, в Дондорфе, (так звали нашу деревню) только изредка раздавались короткие очереди автоматчиков. Мы с Русаковым тоже стреляли, давая о себе знать как нашим, так и немцам. В первые минуты я был спокоен, не отмечал в памяти никаких подробностей из того, что творилось вокруг меня. Потом я стал замечать, что сознание мое все яростнее и яростнее обращает внимание на самые незначительные явления, – на то, как хромая овчарка перебегает двор (я в ту секунду подумал, что во дворе должны быть овцы), как громадный серый петух, прижавшись к земле и поспешно расправив крылья, юркнул под желтый трактор (на тракторе было порвано красное сидение), как из трубы, поднимавшейся высоко над крышей, жиденькой струйкой вился голубоватый дымок (я почему-то хотел засмеяться от того, какой ничтожный этот дымок, в сравнении с дымом войны, но так и не засмеялся), наконец,

как ровно были сложены дрова за хлевом (они были сухие, я определил это потому, что на каждом срезе чернела паутинка трещинок).

Русаков обошел желтый трактор с правой стороны. Он с презрением взглянул на серого петуха и, выпустив из автомата короткую очередь в сторону поля, простиравшегося за хлевом, инстинктивно согнулся и остановился. Я тоже остановился. При этом я успел подумать, что Русаков чертовски влияет на меня. Лишь только он ложится на землю, я ложусь тоже, лишь только он поднимается, я поднимаюсь тоже. Пора действовать самостоятельно!

Это свое решение я хотел тут же выполнить – пойти мимо Русакова и первым выйти в поле. Русаков, угадывая мое намерение, проскочил возле трактора и побежал в сторону деревянного забора, отделявшего поле от двора. В моем уме опять пронесся укор, но я не успел осмыслить его.

За забором стояли четыре немца с поднятыми руками. Они были одинакового роста, одинаково смущены и одинаково возбуждены. На них были пилотки со свастиками и шинели, запачканные глиной. В их глазах не было ни мольбы о пощаде, ни высокомерного отчаяния. Я заметил тоже, что все они были русые, с молочным цветом лица и очень молодые. Самому старшему из них не было и двадцати лет. Он стоял на один шаг ближе к нам и старательно, по-уставному (может быть, у немцев даже на этот случай есть правило в воинском уставе), поднимал руки вверх. Пальцы его рук были плотно прижаты один к другому, выпрямлены, и на одном из них (я не успел отметить, на каком именно) блестело золотое кольцо. Как он ни старался быть симметричным (симметрия – суть муштры), правая его рука была немного ниже левой. Он был фельдфебелем – об этом свидетельствовали его погоны и звездочки на них.

Вправо от него стоял ефрейтор. Мои глаза, как фотоаппарат, одновременно отметили и то, что ефрейтор был самым молодым (не больше шестнадцати лет), и то, что на верхней его губе, немного припухшей и фиолетовой,

был глубокий шрам сверху вниз, деливший пополам не только его рот, но и все лицо, и то, что воротник его шинели был засаленный, и то, что в глазах его не было ни страха, ни сожаления, ни упрека. Так уж все сложилось, говорили его серые и немного холодные глаза, так должно было случиться, мы попали к вам в плен, мы могли и не попасть, у нас была возможность драться до тех пор пока вы нас не прикончите, но мы, может быть бессознательно, решили сдаться. Раньше, когда у нас еще было время думать, мы о плене не думали. Когда же пришло наше время, думать было некогда, и мы подняли руки. Мы считались с тем, что вы нас можете убить, как считались и с тем, что можете нас и помиловать. Мы слышали, что вы очень многих из тех, кто поднимает руки, расстреливаете.

Не знаю, думал ли ефрейтор обо всем этом. Возможно, что он об этом вовсе не думал, а поднял руки потому, что беспрекословно следовал примеру фельдфебеля.

Третий немец был толстый и румяный, его распирало изнутри. Мне казалось, что если он полной грудью вдохнет воздух, шинель его затрещит по швам и немецкая армия потерпит непоправимый материальный ущерб. И тут же я подумал, какая нелепая и неуместная мысль пришла мне в голову, — может быть немец этот был мобилизован вчера или позавчера, его долго не брали в армию потому, что сердце его никуда негодное. Он часто дышал и следил глазами за движениями Русакова.

Четвертый немец, стоявший крайним слева, был наиболее спокойным. Он сморел не на нас с Русаковым, а на трубу, из которой жиденькой струйкой лениво выползал дым. Хозяева сбежали, огонь догорел, поэтому дым был таким жидким.

Я подумал, что все четыре немца разные и вместе с тем в них было что-то общее, что растворяло их индивидуальные черты. Этим общим было сознание их обреченности, неизбежности расплаты и стремление сохранить свое человеческое достоинство.

Четыре немца, стоявшие перед нами с поднятыми руками, не просили ни милости, ни пощады. Они сдавались в плен, готовые встретить с нашей стороны не только сострадание, но и самое худшее — пулю.

Может быть потому, что они полностью отдали свою судьбу в наши руки, то есть в мои руки и в руки Русакова, я до боли в костях ощутил ответственность за них, за их жизнь и за их безопасность. Но это глубинное сознание ответственности еще не успело оформиться во мне в ясное чувство.

Русаков иначе оценивал создавшееся положение. Его глаза по-волчьи кидались с одного немца на другого. Неужели Русаков расстреляет всю четверку? Нет, на этот раз он этого не сделает. Я не позволю. Я. Я. Я.

— Ну, фрицы, довоевались? — спросил Русаков, вглядываясь во всю четверку одновременно. Это он умел делать — видеть все сразу.

Немцы молчали.

— Гитлер капут, — продолжал Русаков, легко взбираясь на забор. Очутившись на той стороне, он стал заходить в тыл немцам.

— Германия капут, — уже за спиной у них говорил он.

— Все немцы капут. Немцы — нихт гут.

Немцы по-прежнему молчали, хотя в их глазах вспыхнула тревога. Голос Русакова насторожил их. Фельдфебель даже сделал попытку повернуть голову в сторону Русакова.

— Нихт дреен! — крикнул Русаков. — Штиль штеен!

Фельдфебель повиновался, медленно повернул голову лицом к забору.

Мой ум начал бешено работать и одновременно я как бы стал удаляться от происходящего — я стал воспринимать действительность не как свою, а как чужую. Я признавал, что во всем происходящем вокруг меня я играю главную роль. И вместе с тем мне было ясно, что это не так, что передо мной происходит то, что было уже раньше предопределено и решено. Я чувствовал, что Русаков хочет расстрелять немцев. Об этом говорили его порывы.

вистые движения и вздрагивающие ноздри. Я вцепился взглядом в его пальцы, сжимавшие автомат. Красивые пальцы! Как у пианиста! Особенно указательный палец, замерший на курке!

— Не смей! — крикнул я Русакову, влезая на забор.

Должно быть, я зацепил больной ногой за забор или прыгивая ударил ногу — не знаю, что произошло, знаю только, что в тот момент когда я поднялся с земли, я почувствовал режущую боль в щиколотке и что сознание мое отметило эту боль, как сигнал к действию.

— Не смей! — повторил я свою угрозу, направляя автомат на Русакова.

Русakov не обратил на мои слова внимания.

Прошло много времени, я много думал о случившемся, почти все мне стало ясным, но то, что Русakov тогда не обратил на мои слова внимания — это мне непонятно до сих пор.

Русakov приказал немцам приблизиться к забору.

— Еще, еще! — кричал он.

Немцы, не понимая ни слова по-русски, поняли, что им следует сделать еще несколько шагов вперед.

— Стой! — скомандовал Русakov.

— Не смей! — прокричал я что было мочи. — Слышишь, не смей!

Русakov не мог не расслышать этого моего вопля. Вокруг гудела канонада, строчили автоматы и пулеметы, но мой вопль все перекрыл.

— Фельдфебель, лезь через забор! — продолжал командовать Русakov.

Фельдфебель не понимал чего от него хотят, но спросить не решался. Вообще он был скованным. Чем именно, я не знаю, может быть строгой муштрой, может быть тысячелетней германской традицией, суть которой — дисциплина — передавалась от отца к сыну многими и многими поколениями.

Русakov показал глазами на забор и сделал ногой движение, объясняющее как следует лезть.

Фельдфебель отделился от остальных немцев, положил руки на две планки и занес ногу, чтобы вскарабкаться на забор.

В это время я заметил, что палец Русакова, лежавший на спуске, вздрогнул.

Раздались пронзительные сухие и короткие щелчки — да, да, да — это были не выстрелы, а щелчки. Я это помню совершенно отчетливо.

Фельдфебель весь обмяк, потом голова его безвольно упала на правое плечо. Руками он все еще держался за планки. Но это длилось недолго — руки его скользнули вниз и опустилось вниз все тело. Оно упало под забор, вздрогнуло два раза, вытянулось и замерло на веки вечные.

— Что ты делаешь?! — не то прокричал, не то прошептал я.

Русаков мельком взглянул на меня и, видимо, поняв, что со мной происходит что-то необычное, пришел в замешательство. В глазах его заплескали злые искорки.

— Псих! Я всегда говорил, что ты — псих.

— Я сейчас убью тебя, — сказал я не своим голосом.

Русаков не поверил мне, он не мог поверить мне. За время нашего знакомства он составил себе неправильное представление обо мне. Он был уверен, что я не могу никого убить. Тут он совершил ошибку. Вместо того, чтобы обезвредить меня, он только покачал головой.

— Я всегда говорил, что ты — профессор.

В эту секунду я нажал на курок. Последовала короткая очередь. Русаков вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, как он всегда делал, зашатался, потом медленно, нехотя упал на снег.

Освободившись от роли, которую играл до сих пор, я бросился исправлять случившееся, хотя сознавал, что исправить уже ничего нельзя. Я подбежал к Русакову, схватил его под мышки и начал тащить в сторону поля. Сообразив, что там помощи не может быть, я повернул влево, намериваясь обойти забор и выйти на улицу.

С двух сторон ко мне спешили наши солдаты. Не знаю, вастрелы ли или мой крик привлекли их внимание, но они явно шли ко мне, чтобы посмотреть, что я делаю. Когда они подошли ко мне я взглядом показал им на Русакова.

— Я убил его, — пояснил я.

Те, что пришли справа, не захотели связываться со мной. Они прошли мимо и подошли к немцам, стоявшим с поднятыми руками у забора. А те, что пришли слева, отстранили меня от Русакова и принялись хлопотать возле него.

— Я убил его потому, что он хотел прикончить всех немцев, — оправдывался я. — Они сдались нам в плен. Мы стояли вот там во дворе, возле трактора, когда они подняли руки. Русаков не хотел брать их в плен, это он убил фельдфебеля.

Русаков стонал. Те двое, что возились с ним, не слушали меня. Они потащили Русакова на перевязочный пункт.

— Он убил бы и остальных, если бы я не помешал ему, — кричал я им в догонку. — Я должен был как-то помешать ему. Я предупреждал его, но он не послушал меня. Я не мог поступить иначе, слышите, не мог поступить иначе!

Русаков приоткрыл на секунду глаза и хотел что-то сказать, поэтому они остановились. Но когда убедились, что говорить он не в состоянии, что он умирает, они ускорили шаги.

— Я хотел убить его! Да, да, да, я хотел убить его сознательно, продуманно!

Они не хотели вступать со мной в разговор и упорно молчали. Для них я был таким же врагом, как и немцы. Если бы на мне не было шапки с красной звездой, они тут же прикончили бы меня. Но прикончить меня они не могли — меня защищал закон.

Какой закон?

Наш советский закон. Тот закон, который разрешает убивать людей, поднявших руки. Разве такой закон

можно считать законом? Это – беззаконие! Все, что творится вокруг – сплошное беззаконие. И те танки, которые сейчас горят и под гусеницами которых лежат трупы, – беззаконие. И солдаты, которые тащат Русакова, – беззаконие. И небо, которое равнодушно взирает на нас, – беззаконие.

Я хотел покончить с беззаконием, поэтому я выстрелил в него. Я выстрелил не в Русакова, а в беззаконие.

Мы вышли на улицу и направились к площади, раскинувшейся перед церковью. Там, под оголенными черными деревьями толпились военнопленные, окруженные нашими солдатами. Там же был и капитан Коваленков. Он суетился больше всех. Военнопленных, вопреки предположениям, оказалось много. Немцев находили в подвалах домов, в хлевах, на чердаках, в сене и соломе, и выводили на площадь.

Когда мы поровнялись с капитаном Коваленковым, те двое, что тащили Русакова, заговорили первыми.

— Это он убил его, — произнесли они одновременно и так же одновременно показали на меня.

Капитан Коваленков даже не повернулся в мою сторону. Его суетливое лицо стало вдруг очень-очень серьезным. Таким я никогда не видел капитана. Неужели он понял меня и встал на мою сторону? Или, напротив, подписал мне смертный приговор? Я понимал, что он не может теперь ни помочь мне, ни повредить, и, тем не менее, я хотел, чтобы он понял меня. О смертном приговоре я не думал. Я свыкся с мыслью, что рано или поздно меня прикончат не немцы, а наши. И теперь, когда подошел мой черед, я не испугался.

— На КП его! — приказал капитан Коваленков высокому солдату, стоявшему рядом с ним. Он кивнул головой в мою сторону.

Так и есть, — капитан не понял меня. В противном случае он хотя бы взглянул в мою сторону, выругал бы меня или пригрозил мне наганом.

— Есть, товарищ капитан! — отрапортовал высокий солдат.

— И не отходи от него ни на шаг. Знай, головой ответишь за него.

— Есть, товарищ капитан!

9

Начались мои новые мытарства. Фронт был в движении, штабы переселялись с одного места на другое, никто толком не знал, где кто находится. Из-за этого меня доставили в распоряжение армейской прокуратуры только на пятый день после ареста. За все эти пять дней я почти ничего не ел и не пил. Мои конвоиры часто менялись, на меня пайка никто не получал, своими же скудными кусками хлеба со мной делиться тоже не было охотников. Поэтому я очень обрадовался, когда меня водворили в фриденбургскую тюрьму в одиночную камеру. Здесь, в тюрьме, я надеялся получить если не кусок хлеба, то хотя бы котелок баланды или горячей воды. Спать мне тоже очень хотелось, пожалуй, спать хотелось больше, чем есть. Но больше всего мне хотелось побыть наедине с самим собой именно в четырех стенах, в подвале с маленьким решетчатым окном, в тишине, в тепле и спокойствии. Бывает такая усталость, когда кажется, что за час душевного отдыха можно отдать жизнь.

Я был уверен, что допрашивать меня будут недолго, — я не собирался ничего скрывать, скорее напротив, я хотел дать такие сведения следователю, на основании которых меня можно было бы легко подвести под пулю. В глубине души я чувствовал, что если боюсь чего-либо, так это не скорого конца, а изнурительных допросов. Опыт прошлого убедил меня в том, что если следователь решил получить от подследственного такие сведения, какие нужны ему, — он, рано или поздно, получит их. Другой вопрос — какой ценой. Поставив себе целью доказать что-нибудь такое, что ничего общего не имело ни с фактами, ни с логикой, следователь брал выдержкой, охмурением и разрушением воли подследственного, разрушением его души.

Это последнее было самым невыносимым в допросах и было оно самым невыносимым не потому, что унижало и оскорбляло, а потому, что вселяло страх. Какой страх? Трудно сказать, какой. Может быть тот, преисторический, которым природа наделила человека еще до того, как произвела его, еще в замысле, в плане. Страх этот должен был предохранить человека от потери человечности и от возможности распада души. Что было бы, если бы не было этого страха? Человек легко превратился бы в обезьяну или в носорога, в шакала или хамелеона.

Следователи всех времен искали способ, как легче всего разрушить человеческую душу, вернее, душу подследственного. Современные следователи нашли такой способ. Душа яростно отстаивает себя, и конечно ей больно, она устает, она готова умереть, она предпочитает смерть разрушению. Отдельная душа жертвует собой ради остальных душ, ради человечества. Следователям рано праздновать победу. Они могут убить одну душу, сотни душ, миллионы душ, но они никогда не убьют соборную душу человечества!

Я думал, что в моем деле настолько все ясно, что никакие ухищрения со стороны следователя не понадобятся. Каждый следователь в конце концов стремится к одному – к получению таких показаний, которые подводят подследственного к пуле. Я охотно дам следователю такие показания. Лишь бы он не начал разрушать мою душу. И не пришел скоро. Чтобы я мог хотя бы час поспать.

Мой следователь, видимо, спешил. Он вызвал меня на допрос в то время, когда я уютно улегся на полу и положил голову на вещевой мешок.

Следуя за конвоиром по гулким и темным тюремным коридорам, я испытывал отвращение не к следователю, а к его бесконечным вопросам: где родились, когда родились (может быть, наоборот: когда родились, а потом – где родились), кто были ваши родители, чем занимался отец, кем был дед и прадед, чем занимались вы в 1941-м году, почему до сих пор не женились, были ли уже судимы, когда и за что, был ли судим ваш отец (если да,

за что), почему ваш отец развелся с вашей матерью, как звали вашу прабабушку – действительно, как звали мою прабабушку? кажется, Еленой или Екатериной – но ведь у меня было четыре прабабушки. Как их всех звали? Я этого не знаю, но опытный следователь должен знать. Наконец, если этим вопросам есть конец, – какими иностранными языками вы владеете и почему вы переехали в 1928 году из Ленинграда в Москву?

— Почему мы переехали из Ленинграда в Москву? — переспросил я следователя. — Мой отец получил место в одном московском институте. Поэтому мы переехали.

— В каком институте? — задавал свои вопросы въедливый следователь. Да, он был въедливым. Въедливость подавляла в нем все остальные качества, въедливость даже искажала его, уродовала лицо, румяное и чисто выбритое, развязывала движения: он бегал вокруг меня, махал руками, сжимал кулаки и подносил их к моему носу, топал ногами, раздраженно плюхался в кресло, хватал ручку и начинал торопливо что-то записывать в протокол, тут же вскакивал, и не дописав фразы, хватался обеими руками за голову, стонал, рычал, опять спрашивал...

— Почему арестовали вашего отца? Когда это было? Кем вы тогда работали?

— Моего отца арестовали потому, что в своих лекциях он осуждал абсолютную монархию. Это было в 1939-м году. Я тогда работал в МГУ в аспирантуре.

— Вашего отца не могли арестовать за то, что он осуждал абсолютную монархию. Вы мне очки не втирайте. За что его арестовали?

— Я не читал протоколов допроса. И на суде я не присутствовал. С тех пор, как моего отца арестовали, я ни разу не виделся с ним, я не получил от него ни одного письма, никто – ни судья, ни следователь, ни прокурор – никто мне ничего не сказал о нем. Я уже четвертый год воюю и не знаю, жив ли мой отец или погиб.

— Это к делу не относится.

— Как не относится? Вы меня спрашиваете, за что арестовали моего отца. Откуда я могу знать? Откуда? Скажите мне вы, у вас огромный опыт в этих делах. Вы лучше меня знаете, за что у нас забирают по ночам людей. Скажите мне, я до сих пор не знаю, как погиб мой отец, где погиб, когда погиб?

— Всё вы знаете, беда в другом — не хотите знать, притворяетесь, юлите, угрем извиваетесь. Не поможет! Этот номер не пройдет!

— Чего вы от меня хотите? Каких признаний? Каких доказательств? Я ничего не скрываю, я в десятый раз заявляю, что хотел убить. Мотивы? Могу повторить. Я убил потому, что не мог смотреть, как при мне убивают поднявших руки военнопленных. Я не мог этого не сделать, ибо хотел остаться человеком. Почему я не попытался иначе удержать Русакова? Я пытался. Я просил его, я кричал на него. У меня не было иного способа. Если вам мало этих признаний я могу еще что-нибудь прибавить, что-нибудь такое, что вас устраивает. Скажите, что вас устраивает?

— Как вы разговариваете со мной?! Я выясняю истину. Ничего кроме установления истины мне не нужно. Вы, как историк, должны знать, что очень часто факты — да, да, именно факты — не только не помогают установить истину, но способствуют её искажению.

— Я этого не знаю и знать не хочу. Меня интересует, какую истину вы ищете в моем деле?

— Ту, которая объяснила бы мне, почему вы стреляли в Русакова. Мы все смертельно ненавидим немцев. Вы же, защищая немцев, пошли на убийство своего товарища, того товарища, который спас вас от смерти. Мне нужно выяснить причины, самые глубокие причины, может быть, те причины, которые кроются даже не в вас, а в вашем отце, в вашем прадеде, классовые причины, которые одни только и могли привести вас к такому шагу.

— Вы идете по ложному пути. Никаких классовых причин в моем поступке нет. Мой дед был рабочим. Моя

бабушка была прачкой. Второй мой дед, со стороны матери, служил кучером у одного дворянина. Как там было дальше, — не знаю, никто мне не говорил. Я хочу облегчить вам задачу, — я вам могу указать на основные причины, заставившие меня стрелять в Русакова. Я пришел к убеждению, что нет классовой правды, как нет и личной правды. Есть одна-единственная правда, — это правда внеклассовая и внеличная. Верующие называют её божественной правдой, я же, будучи неверующим, называю её идеальной правдой. Меня захватила, покорила, подчинила себе именно эта правда, — вечная и незыблимая. Я пришел к убеждению, что только тот человек может назвать себя свободным, который служит не своему правительству, не какому-либо классу или вождю, а этой идеальной правде. Наши земные идеалы превращаются в пепел, лишь только их коснется вечность.

— Вот оно что! Оказывается, вы — против классовой правды?!

— Да, я против классовой правды. Изучая эпоху Грозного, я убедился в фальши всей правительственной правды. Классовой правды, как таковой, никогда и не было, была правительственная правда, вернее, правда того, кто стоял во главе правительства.

— Что?!

— Совершенно верно, я против правды рабочего класса, как и против правды диктатора.

Следователь замахал перед моими глазами крепко сжатым кулаком.

— Вы — враг народа!

— Да, я — враг народа.

— Вы заслужили пулю в затылок.

— Да, я заслужил пулю в затылок.

— Вы, вы, вы — мерзавец и подлец.

— Нет, я — не мерзавец и не подлец. Это вы — мерзавец и подлец.

— Что, что вы сказали?! Как вы смее?! Как вы смее?!

Он ударил меня кулаком в переносицу. Так бьют в грудь, в живот, но не в переносицу. Так бьют подлещи.

Я встал со стула, выждал секунду, пока следователь оправился от замешательства, потом крепко-крепко сжал кулак и ударил его в грудь. Он устоял. Маленький, пухленький, а устоял. Я был уверен, что он не устоит.

Следователь остолбенел, на знал, что делать дальше, как вести себя. Продолжать ли драку, звать на помощь часового, или сделать вид, что ничего не произошло. Он выбрал последнее, что соответствовало его характеру. Заложив за спину руки, он прошелся несколько раз возле стола, потом сел на стул и стал записывать мои показания. Покончив с записью, он встал, покачал головой и принялся опять задавать мне вопросы. На этот раз вопросы его носили деловой характер. Нет, он не отказывался от намерения подвести меня под пулю. От этого намерения он не мог отказаться. Он решил просто выяснить, что произошло, без всяких хитросплетений. Я раскусил его, — он принадлежал к тем следователям, для которых допрос — священное действие. Мне же это было ни к чему. Я знал, что пулю я давно заслужил, поэтому не хотел подыгрывать ему, тешить его. Он был мне противен — актеришко на ролях резонера.

— Почему Русаков убил фельдфебеля?

— Скорее всего потому, что не было в нем совести, сердца, сострадания. Все это из него вытравила жестокая жизнь, духовная разруха и война.

— Вы не поняли моего вопроса. Может быть, немец пытался бежать, скрыться в доме, в подвале? Или оказывал сопротивление, не повиновался Русакову?

— Ничего такого не было. Русаков приказал фельдфебелю лезть на забор. Когда фельдфебель поднял ногу, чтобы влезть на забор, Русаков выстрелил ему в спину. Выстрелил подло, гадко, мерзко.

— Может быть, фельдфебель оскорбил его? Грубым словом, враждебным взглядом, презрительной улыбкой? Не помните?

— Зачем вы задаете все эти ненужные вопросы? Я вам ясно сказал, что Русаков убил фельдфебеля потому, что в душе у него было пусто.

— Почему вы не попытались отнять у Русакова оружие и таким образом предупредить убийство? Почему вы вместо этого выстрелили в Русакова?

— Я уже вам сказал, почему я это сделал.

— Ничего вы мне не сказали.

Я молчал. Как мне еще объяснить этому въедливому человечку, что я не мог иначе поступить? Как? Он постоянно сворачивает на свое, на те причины, которые ему нравятся, но которые не имеют ничего общего с убийством.

— Отвечайте! — повысил он голос.

— Я устал от ваших бессмысленных вопросов. Если бы я что-либо скрывал, как-нибудь выгораживал себя или старался уйти от ответственности, мне было бы понятно ваше поведение. Но я ничего не скрываю, я уличаю себя и мне кажется, что того, что я вам сообщил, достаточно для вынесения трех смертных приговоров. Чего вы еще хотите? Пуля мне обеспечена, дело ясное.

— Вы хотели убить Русакова или хотели только ранить его?

— Я хотел убить его.

— Сколько времени вы провели в плену у немцев?

— Два месяца.

— С какими чинами немецкой армии вы встречались?

— Ни с какими. Всю внутреннюю охрану в лагере несли наши солдаты.

— С кем из немецкой охраны вы разговаривали?

— Ни с кем.

— Как звали начальника лагеря военнопленных?

— Не знаю.

— Кто был старшим в вашем бараке?

— У нас не было барачников. Мы жили под открытым небом, на снегу. По ночам мороз достигал тридцати градусов.

— Читали вы немецкие листовки?

— Нет.

— Читали вы немецкие газеты?

— Нет. Нет. Нет.

Я чувствовал, как с каждым новым вопросом следователя во мне нарастало бешенство. Если он задаст мне еще один вопрос, я накинусь на него...

— Предлагали ли вам немцы вступить в армию Власова?

Я хотел ему сказать, что в то время, когда я был в плену, Власов еще пил со Сталиным в Кремле водку. Но вместо этого я сказал другое.

— Я не могу отвечать на ваши вопросы. Не могу! К чему все это? Чего вы от меня хотите? Зачем вы доводите меня до отчаяния?

Я подошел к нему. Он понял, что ему грозит смертельная опасность, но второй раз пойти на уступку он не мог. Вероятно, он страдал от того, что я ударил его, а он не прикончил меня тут же из нагана.

Он отскочил от меня и, хватая дверную ручку, стал истошным голосом звать на помощь. Часовой, стоявший за дверью, ворвался в кабинет, нацелил на меня автомат, и замер в напряженном ожидании. Следовательно, почувствовав безопасность, пришел в бешенство от собственной трусости.

— Если вы не будете отвечать на мои вопросы, я вам выбью зубы, — сказал он, как мне показалось, с дрожью в голосе.

— Я не буду отвечать на ваши вопросы.

Я твердо решил не отвечать больше ни на какие вопросы. Если же кто-нибудь из них ударит меня, я дам сдачи, я буду драться до последнего вздоха. Руками. Ногами. Зубами. Мне терять нечего. Какая разница, убьют ли меня сейчас или завтра, после суда? Убьют ли меня здесь, в кабинете следователя, или в тюремном дворе у грязной стены? Даже лучше будет, если все свершится сейчас. Раз уж подошло мое время, так лучше сейчас!

Первым накинусь на меня следователь. Он обрушил на меня весь свой гнев, накопленный за время допроса.

Он бил меня по лицу, по голове, в живот и глаза.

Вначале я только защищался, потом перешел в наступление. Я тоже бил по лицу, по голове, в живот. Со стола полетели на пол протоколы, карандаши, пепельницы и книги.

К избиению присоединился и часовой. Били они меня беспощадно. Я бил их тоже беспощадно. Они старались схватить меня за руки. Я отбивался от них ногами. Но я был слабее их. Может быть потому, что пять суток ничего не ел, пять суток не спал, а может быть от того, что во мне было меньше злобы чем в них. Они стали одолевать меня. Под конец били только они. Били долго. Я лежал, а они били.

10

Судилище началось на следующий день. В десять часов за мной пришел начальник караула с вооруженным бойцом. Осмотрев меня, начальник караула рассердился.

— Выглядишь ты, прямо скажу, неважно. Скверно выглядишь. Грязный, небритый, весь в синяках и кровоподтеках. Прямо скажу, вид у тебя — гадкий.

Он принялся ругать последними словами сторожей, не позаботившихся, чтобы привести меня в человеческий вид.

— Сейчас уже ничего не поделаешь. Сейчас надо торопиться. Трибунал не может ждать. Знаешь, сколько у него, у трибунала, работы? Прямо скажу, уйма работы. На каждого подсудимого пять минут, — не больше. В редких случаях, когда дело запутанное, — десять минут.

Начальник караула шел впереди, за ним шел я, за мной шел вооруженный боец с автоматом через плечо, подтянутый, побритый, молчаливый и строгий.

— Я слышал, — говорил начальник караула, — ты из штрафного. Прямо скажу, дело твое — гиблое. Из штрафного под трибунал, все равно, что на тот свет.

Наши шаги отзывались гулким эхом в концах длинных коридоров. Лязгали замки. На окнах чернели железные решетки.

— Не повезло тебе, прямо скажу, не повезло. Трибунал сегодня строгий. Присутствует полковник Захаров. Слыхал о нем? Не слыхал. Прямо скажу, — стальной человек. Крепче гранита. Сколько я при трибунале служу? Год? Год и два месяца. И за все это время не было ни одного случая, чтобы Захаров кого-нибудь помиловал. У него, говорят, в Москве есть своя рука. Прямо скажу — крепкая рука.

Начальник караула часто оглядывался на меня. Он хотел прочесть на моем лице страх, вызванный его словами. Но я ничего не боялся — ни полковника Захарова, ни суда, ни смерти. Я боялся допросов. Но их больше не будет. Это я знал.

— Был бы не Захаров, может быть, могли бы и помиловать. Такие случаи бывали, когда Захарова заменял майор Опришников. Но при Захарове, ни-ни, прямо скажу, невозможно, чтобы помиловали.

Выждав секунду, начальник караула спросил:

— У тебя родители есть?

— Нет.

— Так-таки никого нет?

— Никого.

— Тем лучше. Прямо скажу, нехорошо, когда есть родители. И жены нет?

— И жены нет.

— Ты, значит, совсем один?

— Выходит, что так.

— В твоём деле, прямо скажу, это хорошо.

Я хотел спросить начальника караула, почему это хорошо, но не успел. Мы подошли к залу, в котором заседал трибунал.

Видимо, трибунал работал быстрее положенного, так как мы сразу вошли, без предварительного ожидания.

Зал, как зал, – три окна с решетками, заплеванный пол, несколько рядов стульев, на стенах пусто. Впереди – подиум, на подиуме – стол.

За столом сидели генерал-майор Петров (когда меня ввели в зал, я еще не знал его фамилии), полковник Захаров, – крутой человек, весь бронзовый, с длинным во все лицо шрамом, плотный, смотревший черными угольками глаз не то на генерал-майора, не то на круглого, как шар, капитана – тоже члена трибунала. Перед подиумом, тоже за столом, сидел военный прокурор. Он был в чине подполковника. Напротив его сидел мой защитник (я тогда еще не знал, что это был мой защитник).

Когда мы вошли, ни члены трибунала, ни мой защитник, даже не взглянули в нашу сторону. Единственным из всего судилища, кто взглянул на нас, был прокурор. И хотя взгляд его был враждебный, я в душе поблагодарил его, – все-таки у него был интерес ко мне. Пусть этот интерес был моей судьбой, моей смертью. Пусть! Но у остальных ничего не было ко мне – ни вражды, ни дружбы, ни злобы, ни доброжелательства. Остальные были равнодушны ко мне. Их не интересовало ни мое преступление, ни я, ни моя судьба. Для них я был абстрактной величиной, совершенно такой, как для математика – цифра пять или шесть, или сто сорок восемь. А почему не тридцать три? Потому что между цифрами нет никакой качественной разницы, есть только количественная разница. Пять преступников похожи на шесть и на двадцать пять преступников. Там, где реально только количество, а качество абстрактно, не может быть никакого интереса. Я был одним из бесконечного числа преступников. Так думали они. Власть была в их руках, поэтому они были правы. Я думал иначе. Я считал, что я – величина самостоятельная, что правда на моей стороне. Они, вынося смертные приговоры в количественном порядке, творили беззаконие. Может быть, где-нибудь и есть справедливые суды. Я в этом не уверен. Трибунал, которому предстояло судить меня, не был справедливым, не мог быть справедливым. Он действовал по заранее

намеченному плану. Ему полагалось в течение дня работы не помиловать ни одного человека, для него не имело значения, кого конвоир доставлял в зал, – виновного или невинного, правого или неправого, чистого или нечистого. Он – трибунал – был создан для того, чтобы выносить смертные приговоры. И тот подсудимый, который попадал ему в зубы, не мог быть помилован.

Начались нудные вопросы: как зовут, когда и где родился, женат ли, есть ли дети, был ли ранее судим?

Я отвечал с большим трудом – лицо у меня распухло от вчерашних побоев и сильно болело. Я сознавал, что все эти вопросы к делу не относятся, что к делу в этом зале ничто и никто не относится – ни генерал-майор Петров, ни полковник Захаров, ни мой защитник, ни оконные решетки, ни заплеванный пол. К делу относился только я и, пожалуй, прокурор.

Вопреки сути трибунала, я чувствовал, что мы с прокурором понимаем друг друга. Он, – прокурор, хочет доказать мне, именно мне, а не кому-либо другому, что я – преступник, что я нарушил закон. Я, в свою очередь, никому и ничего не собираюсь доказывать, но я был уверен, что ничего несправедливого я не сделал. Он, – прокурор, знал, что я так думаю, но он верил в те законы, на основании которых он меня обвинял, поэтому хотел убедить меня в своей правоте. Я в его законы не верил. Я пришел к убеждению, что законы пишут властимущие, и пишут не потому, что нашли истину, а потому, что хотят навязать свою волю всем остальным, что хотят всех остальных поработить. Их закон – это мера порабощения. Иное дело – идеальный закон, тот закон, который стремится к истине. Прокурор был уверен, что я преступник, что я нарушил его закон. Я был иного мнения. Я считал, что я действовал по совести, в соответствии с идеальным законом, преследующим вневременную вечную истину. Да, я стрелял. Но я стрелял в зло, в вечное и мерзкое зло. Пусть это зло носило человеческую личину, – суть дела от этого не изменилась.

— Товарищи судьи, — с каменной убежденностью говорил прокурор, — перед нами стоит человек, который нарушил закон. На первый взгляд может показаться, что им двигали благородные побуждения. Он в своих показаниях утверждает, что хотел предотвратить убийство. Наша страна борется с жестоким и подлым врагом. Наш народ самоотверженно работает на победу. Лучшие сыны нашего народа отдают свои жизни за святое дело коммунизма. Наши бойцы бьют врага в его же берлоге. Наш доблестный боец Русаков, накануне совершивший беспримерный подвиг — он на глазах всего батальона, под обстрелом уничтожил вражеский ДОТ, — этот наш доблестный боец, преследуя врага, хотел взять в плен четырех немцев. Но подлые фашисты решили не сдаваться в плен. Их командир — фельдфебель — пытался скрыться. Русакову ничего иного не оставалось, как выстрелить в него. Казалось бы, боец Седов должен был помочь Русакову. Так нет, вместо того он выстрелил в Русакова. Невозможно представить более гнусного поступка! Товарищи судьи! Русаков не умер. Наши доблестные хирурги спасли ему жизнь. Но меняется ли от этого суть преступления Седова? По моему глубокому убеждению, суть преступления от этого не меняется.

Ни члены трибунала, ни мой защитник, ни разу не взглянули на меня. Мне казалось, что они и не слушают прокурора. Но не это меня сейчас занимало. Я радовался — Русаков не умер, его спасли хирурги, он будет жить! Я считал себя правым, но в глубине души у меня было неспокойно, — я отдавал себе отчет в том, что я убил человека. Люди бывают разные — плохие, хорошие, очень плохие и очень хорошие. Бывают преступники и святые, бывают архипреступники, которых ни при каких обстоятельствах нельзя оправдать. Но, как святые, так и самые отъявленные преступники, — люди, обреченные на трудную и жестокую жизнь. Где-то там, далеко-далеко, и преступники, и святые сливаются воедино в своей человечности, в своем неповторимом даре, имя которому — жизнь. Никто из смертных не имеет права отнимать у

человека жизнь. Никто. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Тот, кто это делает, становится преступником. Всегда. При любых обстоятельствах.

Я стрелял в зло, воплощенное в Русакове. Я был прав. Если бы мне вторично пришлось стрелять в Русакова, я не поколебался бы ни на одну секунду, и выстрелил бы в него вторично. И, все-таки, хорошо, что Русаков жив!

Прокурор говорит, но его никто не слушает. Все уверены, что он говорит то, что надо говорить в данном случае. Кто станет опровергать его слова? И надо ли их опровергать?

Я стоял, стараясь не двигаться. Мое тело ныло от боли. Мне трудно было говорить, и я искренне обрадовался, когда мне перестали задавать вопросы. Ведь то, что происходило в зале, было похоже на гнусную комедию. Почему судьи не хотели смотреть на меня? Вот я стою перед ними не меньше четверти часа, и ни один из них не поинтересовался мною.

Прокурор орудовал фразами, как бухгалтер счетами, — получалась однообразная канитель.

А что, если крикнуть ему: врешь!

Да так крикнуть, чтобы стены задрожали, крикнуть из глубины души. Тогда и судьи повернут свои яйцевидные головы в мою сторону.

— Вре-е-е-ешь! — закричал я по-звериному, свирепо и зло.

Не знаю, задрожали ли от моего крика стекла в окнах на самом деле, но мне показалось, что задрожали — так, как я этого хоте, — звонко, пронзительно, тревожно.

— Вре-е-е-ешь! — повторил я свой крик. — Вре-е-е-ешь! Вре-е-е-ешь!

Весь зал, весь трибунал наполнился сутью моего крика. Не только стены, но и судьи, и мой защитник, и даже прокурор, поняли, что в этом заплеванном зале не было справедливости, а была одна ложь. Голая, ничем не прикрытая, возведенная в систему, ложь.

— Подсудимый Седов! — тоненьким, срывающимся голосом запротестовал генерал-майор. — Прошу не перебивать! Вы получите слово в порядке очереди.

Я знал, что слово мне дадут, дадут для того, чтобы соблюсти все формальности и таким образом, застраховать себя от возможных неприятностей. Своим криком я преследовал иные цели (я сам не знал, какие, я не осмысливал их умом, но они — эти цели — были во мне, они зародились где-то глубоко в моем подсознании, но не успели облечься в слова и фразы), я хотел показать сущность этого судилища, выявить его подлую, черную душу.

— Я требую, я настаиваю, я, я, я...

Прокурор не мог говорить от негодования, вернее, от шока, вызванного моим криком. Прошло не меньше минуты, прежде чем он овладел собой.

— Я требую для подсудимого Седова высшей меры наказания. Я настаиваю на высшей мере наказания. Государственные интересы будут ущемлены, серьезно ущемлены, если подсудимый Седов не понесет заслуженного им наказания. Подсудимый Седов трижды заслужил высшую меру наказания. Если бы у него были три жизни, я требовал бы отнять у него все три! Товарищи судьи, помните о государственных интересах! Я настаиваю на высшей мере наказания!

— Есть ли у защиты возражения? — спросил генерал-майор Петров, наводя свои выпученные глаза на моего защитника.

Защитник встал на вытяжку, потом сделал два шага в сторону генерал-майора и замер.

— Я полностью, всецело, так сказать, до конца, поддерживаю товарища прокурора. Сейчас идет война, жесткая и бессердечная война. Мы не можем потакать защитникам немцев. Не можем, несмотря на нашу подлинную гуманность, на наше подлинное человеколюбие. Я не могу, у меня не хватает сил вымолвить хотя бы одно слово в защиту подсудимого Седова. Я полностью, безоговорочно, присоединяюсь к требованию товарища прокурора.

Наступила неожиданная тишина. Генерал-майор, как и остальные присутствующие (в том числе и я), ждал продолжения речи защитника. Но продолжения не последовало. Защитник, постояв еще несколько секунд, вытянулся, по-уставному повернулся, отсчитал два шага и сел на свое место.

Первым тишину нарушил полковник Захаров. Он обвел хозяйским взглядом прокурора, потом бегло осмотрел меня и начал:

— Подсудимый Седов, знали ли вы раньше о том, что Русаков принципиально не берет в плен немцев?

— Знал.

— Говорили ли вы об этом вашим командирам?

— Говорил.

— Давали ли ход вашим предупреждениям командиры?

— Нет.

— Знали ли бойцы в вашем батальоне, что есть специальный приказ, запрещающий убивать тех немцев, которые сдаются в плен?

— Знали.

— Русаков тоже знал?

— Знал.

— Товарищ генерал-майор, у меня больше нет вопросов.

Опять наступила тишина. Я шестым чувством понял, что происходит что-то необычное. Генерал-майор заерзал на стуле, прокурор уставился тяжелым взглядом в бумаги, лежащие перед ним на столе, защитник сидел навывтяжку, словно ожидая со всех сторон пощечин.

— Подсудимый Седов, — словно вспомнив про спасательный якорь, обратился ко мне генерал-майор, — что вы скажете в свою защиту?

— Я мог бы многое сказать, но польза от этого какая? Вы давно решили, что я заслужил пулю в затылок. Все, что вы здесь устроили, не суд, а трибуна, с которой вы решили объявить мне смертный приговор. Я кончил.

Генерал-майор нагнулся к полковнику Захарову и стал ему что-то быстро-быстро говорить. Полковник Захаров никак не реагировал на его слова.

Потом генерал-майор встал и объявил, что суд удаляется для вынесения приговора.

Я знал, что мне вынесут смертный приговор. После того, как мне об этом объявят, меня отведут в камеру, дадут возможность написать письмо родителям (у меня их нет), жене или детям (у меня их тоже нет), родственникам (не знаю, есть ли они у меня), или любимой девушке. Я обещал писать Лиде. Что ж, напишу, ей. Пусть знает, что со мной произошло и не ждет, не надеется. Женщины ведь такие – им подай маленькую надежду, а они превратят её в цель жизни. Лида – молодая, умная, сердечная, она легко найдет себе другого, но она должна знать, что со мной все кончено, что меня расстреляли. Моя единственная, неповторимая Лида! Хорошо, что мы не успели пожениться и нарожать детей. То, что со мной случилось сейчас, случилось бы, если мы поженились бы. Главное в моей жизни было то, что случилось сейчас. Ради этого жили мои предки, ради этого я родился и упорно прокладывал себе дорогу именно сюда, в этот заплеванный зал. И генерал-майор Петров, и полковник Захаров тоже родились не для того, чтобы освободить от немцев Минск и Варшаву, а для того, чтобы вынести мне смертный приговор. И для них главным в жизни было то, что случилось со мной здесь, в фриденбургской тюрьме. Мы все здесь спаяны на веки-вечные моей смертью.

Трибунал удалился в соседнее помещение. Значительно позднее я узнал о том, что там произошло.

Генерал-майор Петров заговорил первым.

— Я считаю, — начал он убеждать полковника Захарова, — что Седов заслужил пулю в затылок. Он всю свою жизнь заслуживал себе эту пулю. Он – бунтарь по натуре. Не будь случая с пленными немцами, он нашел бы что-нибудь другое, и там взбунтовался бы. Его надо расстрелять. Он – анархист. Как вы считаете, товарищ полковник?

— Я не могу поддержать вас, — сказал полковник.

Генерал-майор оцепенел. Он знал, что брат полковника Захарова в Москве занимает ответственный пост в аппарате ЦК. От брата полковник знал, значительно раньше чем командующие фронтами, о новых поворотах партийной политики.

— Я не могу поддержать вас, — повторил полковник, — никак не могу. Мы должны думать о будущем. Война вот-вот кончится. Гитлера убьют, его головорезов тоже прикончат, нацистскую партию разгонят к чертовой матери. А что делать с народом? Народ нельзя уничтожить. Мы должны уже сейчас предпринимать шаги для того, чтобы приобрести дружбу немецкого народа. Наша партия никогда не смешивала немецкий народ с нацизмом. Как, каким путем мы можем завоевать симпатии немецкого народа? Я вас спрашиваю, как? Неужели вы думаете, что немцы нас будут любить за то, что мы станем поголовно уничтожать их жен и детей? Или начнем расстреливать сдающихся в плен их солдат? Ведь вы так не думаете, товарищ генерал-майор? Или я ошибаюсь?

— Конечно, я так не думаю, — начал оправдываться генерал-майор Петров. — Я давно чувствую, что пришла пора покончить с ненавистью к немцам. Надо строго наказывать тех бойцов, которые не берут в плен немцев. Я даже считаю, что было бы полезно оправдать Седова. В назидание остальным. А Русакова привлечь к уголовной ответственности и строго наказать. Тоже в назидание остальным.

Михаил Мондич

«СМЕРШ»

1945 год. Советская армия „освобождает“ Европу. За нею следует СМЕРШ – «Смерть Шпионам», организация НКВД, специально созданная для истребления «врагов народа». В Закарпатской Руси, на этом клочке русской земли, принадлежавшем к довоенной Чехословакии, в СМЕРШ в качестве переводчика забирают местного паренька, автора этой книжки. Мондич умеет правдиво и просто рассказывать. Его описание службы в СМЕРШе, своих переживаний во время этой службы и побега читается с неослабевающим интересом. Записки Мондича – небольшой, но яркий отрывок, как бы луч света, внезапно освещающий читателю страшную правду о насаждении сталинщины в странах Восточной Европы. Сейчас, через 40 лет, минувшая война становится постепенно историей. Сталин умер, НКВД и СМЕРШ переименованы. Но дух угнетения и насилия жив, и книжка Михаила Мондича (опубликованная в первом издании под псевдонимом Синевирского) нужна не меньше, чем в то смутное время, когда она была опубликована впервые.

1984, 2-е изд., 216 стр.

26 нем. марок

Заказы направлять:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. 80

75-ЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

По образцу немецких гимнастических обществ, в 1862 г. в Праге было создано Пражское гимнастическое общество, переименованное в 1864 г. в „Пражский сокол“. Сокольство быстро распространилось среди славянских народов Австро-Венгрии, став массовой спортивно-политической организацией, проповедующей братство славянских народов с ярко выраженным русофильством.

За свои идеи многие соколы в Австро-Венгрии подверглись преследованиям и вынуждены были бежать за границу. В результате, в 1866 г. в Чикаго было создано первое сокольское общество в Америке. В России чешские соколы долгое время не могли получить разрешения для своей деятельности и созданному в 1900 г. в Тифлисе „Гимнастическому обществу“ не разрешили называться сокольским. Только после „Манифеста“ 17 октября 1905 г. стало возможным переименовать тифлисское „Гимнастическое общество“ в общество „Сокол“. В эмиграции, в 1920-30-х годах, благодаря материальной помощи югославского правительства, русское сокольство было самой крупной молодежной организацией зарубежья, но после конца Второй мировой войны сокольская работа сошла почти на нет.

В 1902 г. известный писатель Э.Сетон-Томпсон основал в Соединенных Штатах Америки организацию „Лесных индейцев“, а в 1907 г. английский полковник Баден-Пуюэлл начал работу с „бой-скаутами“. В то время в России еще ничего не было известно ни о „лесных индей-

цах“, ни о „бой-скаутах“, но мысль о необходимости внешкольной работы с молодежью витала в воздухе. Это было временем, когда русские люди, не только взрослые, но и дети, тяжело переживали поражение, которое нанесла великой России маленькая Япония. Дети хотели служить России, но не знали как.

Инспектор народных училищ А. А. Луцкевич основал в Бахмуте в 1908 г. „1-й Народный Класс военного строя и гимнастики Его Императорского Высочества Государя Наследника Великого Князя Алексея Николаевича“. В „Классе военного строя“ были привлечены ученики младших классов Городского училища, которым была выдана военная форма, деревянные ружья и придан духовой оркестр.

Бахмутский „Класс военного строя“ положил начало движению „потешных“, быстро распространившемуся по всей России. В Петербурге ежегодно летом устраивались царские смотры „потешных“, съезжавшихся для этого со всей России.

В 1908 г. в Англии вышла книга Баден-Поуэлла „Скаутинг фор бойс“, присланная Императору Николаю II из Лондона, кем-то из приближенных. Императору книга понравилась и он распорядился, чтобы Главный штаб издал её в русском переводе. В России эта книга была издана осенью 1909 г. под названием „Юный разведчик“.

30 апреля 1909 г. в городе Павловске штабс-капитан 1-го Лейб-гвардии стрелкового Его Величества батальона Олег Иванович Пантюхов основал отряд, положивший начало движению юных разведчиков в России.

Как ни странно, но когда в 1911 г. О. И. Пантюхов, редактор журнала „Ученик“ В. Г. Янчевецкий и начальник роты „потешных“ в Вильне В. Ф. фон Эксе обратились к правительству с просьбой разрешить создание организации, объединявшей отдельные отряды „потешных“ и юных разведчиков, то им было в этом отказано. Отсутствие центра тормозило развитие разведчества и погубило движение „потешных“. Только в эмиграции О. И. Пантюхову удалось создать единую организацию под названием

„Национальная организация русских скаутов-разведчиков“, переименованную в 1945 г. в „Организацию российских юных разведчиков“. Эту организацию полковник О. И. Пантюхов возглавлял до своей смерти в 1973 году.

Все, чего смог добиться О. И. Пантюхов в России, это было утверждение 8 сентября 1914 г. устава общества содействия мальчикам-разведчикам – „Русский скаут“. Этим обществом был подготовлен и проведен 1-й съезд по скаутизму в Петрограде на Рождество (8-12 января) 1916 г. Съезд дал мощный толчок бурному росту скаутизма в России. Если ко времени съезда работа велась в 24 городах, то через год, к началу 2-го съезда, в России насчитывалось около 50.000 „бой“ и „герлл“ скаутов (по терминологии того времени) в 143 городах.

К этому периоду относится и основание 14 ноября 1915 г. первого отряда юных разведчиц („герлл-скаутов“) в Киеве др. А. К. Анохиным и г-жой Прохоровой.

В годы войны „соколы“ и „потешные“ прекратили свою деятельность, в то время как бурный рост разведчества относится именно к военному 1916-му году. Лучшая часть русской молодежи – та, которую не принимали добровольцами на фронт, – создавала отряды юных разведчиков во имя служения Родине, для помощи фронту и тылу. Летом юные разведчики помогали крестьянам на полевых работах, в семьях, у которых взрослые мужчины ушли на фронт, дежурили на железнодорожных станциях, встречая поезда с ранеными, собирали подарки для фронтовиков, помогали беженцам, эвакуируемым в тыл.

В замечательных словах разведческого гимна, начинающегося словами: „Будь готов, разведчик, к делу честному“, изложена вкратце разведческая идеология:

Тем позор, кто в низкой безучастности

Равнодушно слышит брата стон...

Помогай больному и несчастному,

К погибающим спеши на зов!

Автором разведческого гимна был Н. А. Адуев, ставший в советское время известным детским поэтом, а музыка была написана В. А. Поповым, редактором дореволюцион-

ного журнала «Вокруг света», редактировавшего в советское время «Всемирный следопыт» (1925-31) и «Уральский следопыт» (с 1931 г.), погибшего в годы сталинского террора.

Известным разведческим деятелем был уже упомянутый В. Г. Янчевецкий, редактор журнала «Ученик» (1910-13). Он пытался уйти с белыми в Китай, но попал к красным. В 1939 г. он написал под псевдонимом „В. Ян“ роман „Чингиз-хан“, за который получил в 1942 г. Сталинскую премию. Это спасло ему жизнь, но до своей смерти в 1954 г. он не смел раскрыть своего псевдонима. В 1969 г. Лев Разгон опубликовал критико-биографический очерк „В. Ян“. Несмотря на явную симпатию к Янчевецкому в очерке, на стр. 31 есть такая фраза: „...по тому, что В. Янчевецкий имел отношение к первым русским бойскаутам, – легко представить себе отъявленного ретрограда, отвратительную смесь Передонова с отставным унтером“. Может быть эти слова не принадлежат автору очерка, но безусловно говорят об отношении советской власти к скаутизму.

В этом нет ничего удивительного. Первый закон разведчиков гласит: „Разведчик верен Богу, предан родине, родителям и начальникам“. А третий – „Разведчик помогает ближним“. Все это, с самого начала, в корне противоречило коммунизму с его воинственным безбожием, классовой борьбой и интернационализмом, выраженном в лозунге: „У пролетариата нет отечества“.

На 2-м Всероссийском съезде РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи) в октябре 1919 г. было решено распустить скаутские отряды, но комсомольцам так и не удалось провести это решение в жизнь. В зависимости от местных условий, иногда легально, иногда полуполюгально, прикрываясь названием „юные коммунисты“, а иногда совсем нелегально, скауты продолжали вести свою работу. Одни надеялись, что советская власть долго не протянет, а другие рассчитывали, что их не поймают. У подпольных скаутов была даже песня с такими словами:

Нас десять, вы слышите, – десять,
А старшему нет двадцати.
Конечно, нас можно повесить,
Но раньше нас надо найти.

19 мая 1922 г. комсомол постановил объединить все существующие пионерские отряды во Всесоюзную пионерскую организацию и положить конец скаутской работе. Началась слежка, а в 1926 г. последовали массовые аресты. О разгроме скаутизма в СССР существует много свидетельств. В парижской газете „Возрождение“ от 25 июня 1927 г. было напечатано письмо в редакцию, некоего „Д“, „Скауты в России“, в котором автор сообщил о событиях 1926 г., свидетелем которых он был:

„Это было в апреле прошлого года, когда после 23 апреля (дня скаутского праздника), насильники земли русской сочли нужным арестовать и подвергнуть тем нравственным пыткам, с которыми знаком всякий, побывавший во Внутренней тюрьме ОГПУ, более 150 человек русских скаутов“. Среди арестованных были и девушки 16-20 лет. „Советское правительство, – говорится далее, – беспощадно расправилось с этими детьми, сослав их на 3 года и даже на 5 лет в далекий, дикий Киргизский край“.

Запрещенные на родине, русские скауты продолжали свою работу за границей. Разрабатывалась идеология, методика и разведческая педагогика. Во всем этом руководители разведчиков искали свои русские пути, создавали свою русскую символику и свои русские традиции.

Старший русский скаут О. И. Пантюхов с конца 1922 г. переселился в США, но центр организации – „Инструкторская часть“ – созданный в 1929 г. находился сперва в Бельгии, потом в Болгарии и наконец в Югославии.

Вторая мировая война, которая нанесла тяжелый удар по русской эмиграции в целом, нарушила деятельность большинства молодежных организаций. Две самые крупные организации – „Русский Сокол“ и „Национальная организация русских разведчиков“ прекратили свою деятельность, в то время как русские скауты-разведчики, несмотря на приказ нацистов о прекращении их деятель-

ности, продолжали работу нелегально. В 1939 г. на нелегальное положение перешла варшавская дружина, а после оккупации немцами Югославии, в подполье ушел Югославский отдел. За исключением „Национальной организации витязей“, все прочие организации постепенно прекратили свою работу.

Во время Второй мировой войны, подпольную работу русских скаутов-разведчиков возглавлял скаутмастер Борис Борисович Мартино, последний начальник „Инструкторской части“. В момент оккупации Югославии ему еще не было 24 лет, а его помощникам было 18-22 года. Эта молодежь, не только сохранила кадры организации, но и пополнила их за счет тех, кто в тяжелые годы войны хотел служить Богу, родине и ближним. Из Югославии подпольная работа перекинулась на Германию и даже в оккупированном немцами древнем русском городе Пскове велась подпольная разведческая деятельность.

Не удивительно, что после конца войны „Организация российских юных разведчиков“ стала ведущей среди молодежных организаций зарубежья, оказавшись и качественно, и количественно на первом месте. Работа ОРЮР ведется ныне в США, Канаде, Южной Америке, Европе и Австралии.

Конечной целью пребывания ОРЮР в зарубежье остается возрождение разведчества на родине, как сказано в песне „Костер разведчика“:

Когда мы покинем чужбину
Костры по России зажжем.

Эта песня, написанная Б. Б. Мартино, считается в организации второй после гимна.

„Организация российских юных разведчиков“ по своей структуре и методике не массовая организация, но после конца коммунистического эксперимента в России она, несомненно, займет ведущее место среди всех российских молодежных организаций. Тому гарантия – большой педагогический опыт и разработанная современная методика работы. Героическое прошлое организации, её русские корни и традиции не могут не привлечь в её ряды

лучшую часть русской молодежи. Несмотря на свое 75-летие „Организация российских юных разведчиков“ остается самой молодой российской организацией по обе стороны границы. В ОРЮР самый высокий процент молодых руководителей, на которых лежит не только вся тяжесть работы, но и ответственность за настоящее и будущее российского разведчества.

Р. Полчанинов

Ценный почин

Официальное открытие Русского религиозно-исторического музея в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (США) было приурочено к выпускному акту Свято-Троицкой семинарии 17 июня 1984 г.

Музей расположен в прекрасном, светлом помещении, уставленном витринами; стены увешаны застекленными экспонатами. Все здесь связано с важными и священными для нас, русских, воспоминаниями прошлого.

В выставке музея намечается несколько тематических линий. Одной из них является собрание знаков и значков русских учебных заведений, представленных в основном Императорским училищем правоведения в Санкт-Петербурге. Училище было учреждено в 1835 году по мысли и на средства принца Петра Георгиевича Ольденбургского „для образования благородного юношества на службу по судейской части“. Кстати, портрет основателя, П. Г. Ольденбургского, тоже имеется в музее. Это училище окончило много выдающихся русских людей, в том числе И. С. Аксаков и К. П. Победоносцев.

Другой отдел составляют золотые и серебряные изделия, включая ордена и знаки отличия.

Раздел третий – иконы и предметы церковного обихода; и, наконец, предметы, принадлежавшие Царской Семье, переданные музеем Княжной Верой Константиновной.

Любители орденов, нагрудных знаков и значков найдут здесь несколько витрин, приковывающих внимание. Помимо уже упомянутых предметов, относящихся к училищу правоведения, здесь есть университетские значки Рижского политехникума, значек столетнего юбилея Константиновского артиллерийского училища, и другие.

Коллекция знамен (пока) невелика, но включает знамя первой бригады Корниловского полка Белой Армии, временно предоставленное владельцем музеем. Есть несколько экспонатов, относящихся к Преображенскому полку, есть Георгиевские кресты, ордена св. Владимира, св. Анны, св. Станислава. О большинстве из них мы знаем понаслышке, из литературных произведений, и вот здесь представляется возможность увидеть их.

Необходимо упомянуть несколько превосходных изделий придворного ювелира Фабержэ и часы известной в России фирмы «Павел Бурэ».

Раздел икон богат представлен образами Казанской Божией Матери, Успения, Воскресения и многих святых. Есть и наперсные и нательные кресты отличной работы. Особенно надо выделить чашу, принадлежавшую теперешнему Архиепископу Антонию Сан-Францисскому, поврежденную шрапнелью во время Второй мировой войны. Надо упомянуть и другую чашу, бывшую в употреблении в беженских лагерях в Германии, очень скромную, из меди. Эта чаша напомнит тем, кто пережил беженские времена, о самоотверженном и жертвенном служении нашего духовенства в это тяжелое время, духовенства, всегда разделявшего судьбу своих пасомых, возглавляемого почившим Митрополитом Анастасием, который намеренно не покидал Германии до тех пор,

пока большинство беженцев не переместилось в другие страны.

В других витринах выставлены бумажные деньги и монеты, среди которых есть и старинные, как, например, Екатерининский пятак.

Священные для нас предметы, некогда принадлежавшие умученной Царской Семье, найденные в Ипатьевском доме после Екатеринбургского злодеяния, являются, без сомнения, одним из самых ценных вкладов. Особенно трогательна вышивка, на которой был поднесен хлеб-соль Великой Княгине Елизавете Федоровне в заточении в Алапаевске, незадолго до её мученической кончины. В незамысловатых, но искренних словах, простые люди, местные крестьяне, выразили тут свою любовь, преданность и верность Царскому Дому.

Глубокое религиозно-историческое значение экспонатов далеко превосходит их материальную ценность. Особенно важен такой музей для молодежи, выросшей на чужбине, которая часто, под влиянием искажающей пропаганды – как советской, так и западной, – представляет себе Россию „отсталой, малокультурной страной“. Все предметы, собранные здесь, опровергают это неверное представление, давая наглядное понятие о степени развития искусства и мастерства на нашей родине до революции, не говоря уже о картине духовной культуры, которую они создают все вместе. Все дореволюционные изделия отличаются вкусом, изяществом и прочностью: это был век, когда не знали пластмассы.

Монастырский музей может стать надежным хранилищем памятников отечественной культуры. Это наша „Оружейная палата“ в миниатюре; она поможет нам сохранить наше культурное наследие, в отличие от незаконно захвативших это наследие поработителей русского народа на нашей родине, которые не задумываясь расточили (и расточают) великое наследие чуждых им предков, продавая его за рубежом или уничтожая на родине. А вот здесь, на чужбине, по крохам собирают и

бережно хранят все то, что помогает восстановить истинное лицо России.

Надо надеяться, что в дальнейшем еще более обильно потекут пожертвования-вклады исторических ценностей в нашу зарубежную обитель. В самом деле: насколько сохраннее все это будет в музее Свято-Троицкого монастыря, не говоря уже о том, что тут эти предметы доступны для обозрения многим посетителям, в то время как в частных руках они могут служить только очень ограниченному кругу. Поэтому, будем надеяться, что отзывчивые люди, кому не безразлично прошлое нашей родины, кто хочет сохранить религиозные и исторические ценности прошлого, передадут их на хранение в музей.

Будем верить, что этот призыв найдет отклик в сердцах ревнителей русской старины. Собирая по крохам чудом уцелевшие остатки прежних богатств Свято-Троицкий монастырь делает великое дело, и, кто знает, может быть, со временем всему этому собранию суждено будет вернуться на родину, где, надо надеяться, благодарные потомки в возрожденной России не забудут трудов и усилий заграничных собирателей наших религиозно-исторических богатств. Дай Бог!

Л. К.

В. И. КРИВОРОТОВ
(1902–1984)

3 июля с.г. в Сан Пауло (Бразилия) скончался Василий Иванович Криворотов – писатель и журналист крайне правого направления, русский националист и монархист первого эмигрантского „призыва“.

Выходец из крестьянской семьи, В. И. на себе испытал все ужасы братоубийственной бойни, вошедшей в историю под названием „гражданской войны в России“. По его собственному свидетельству, в годы так называемого „военного коммунизма“ два десятка дорогих ему душ погибли за принадлежность к Союзу Русского Народа. Идеи этой организации определили мировоззрение будущего литератора-публициста, который стал одним из самых ярких и последовательных их выразителей в зарубежной русской печати послевоенного периода.

Участник Белой борьбы, В. И. закончил в Югославии университет. Военнопленным, югославским солдатом попал в Германию, где оставался с 1941-го по 1947 год. Здесь, после краткого пребывания в лагере, его – как инженера-строителя – отправили на работу в строительную фирму в Гамбурге, где он много общался с вывезенными из Советского Союза русскими людьми. Эти встречи имели исключительное значение в формировании представлений В. И. о характере внутренних процессов на родине.

В конце 40-х годов В. И. переехал в Бразилию, где, продолжая свою инженерно-строительную деятельность, он находил время и для литературной работы. Им написан и издан обширный роман „Контрреволюционеры“ (Мадрид, 1969-71); он работал над продолжением задуманной трилогии – „Страшное иго“ (осуществлена первая часть – „На страшном пути к Уральской Голгофе“ – о великой трагедии Царской Семьи). Можно сказать, что беллетристическая форма служила ему всего лишь „оболочкой“ для проведения концепций, которые нашли законченное выражение в статьях и письмах, составивших сборник „Некоторые мысли к русской возрожденческой идее“ (Мадрид, 1975).

В открытом письме А. Солженицыну (1975) В. И. признавался, что он „ всю свою жизнь зрелого человека серьезно и, можно сказать, последовательно занимался вопросами нашей российской катастрофы и теми, кто в ней сыграли в свое время главные роли“. Задуманная им трилогия и была посвящена этой жгучей теме, не перестающей волновать русского читателя. В зарубежной русской литературе („литература в изгнании“ – как назвал её Г. П. Струве) неоднократно предпринимались попытки создания широких эпопей об истоках и процессе нашей национальной катастрофы. Достаточно назвать известный цикл романов генерала П. Н. Краснова „От Двуглавого Орла до красного знамени“ – видимо, повлиявший на замысел трилогии В. И. Криворотова. Большинство авторов такого рода эпопей сами были участниками описываемых событий, и эти свидетельства (далеко не всегда находившие удовлетворительное художественное воплощение), было бы неверно оставлять в тени. Они заслуживают внимания.

Название романа В. И. Криворотова – „Контрреволюционеры“ – вызывающее, намеренно провоцирующее. Как знать, не нужна ли такого рода встряска нынешнему читательскому сознанию, погрязшему в стереотипах и схемах, навязываемых буквально от молодых ногтей. Сейчас нужны не новые литературные ракурсы – пусть и под зна-

ком разрыва с устоявшимися стилистическими нормами – но глубина понимания и раскрытия смысла величайшей национальной катастрофы, нашей русской трагедии.

Сам В. И. написал, что мысль об этой книге „родилась в его уме и сердце в те тяжкие годы, когда он в рядах Добровольческой армии на Юге России боролся за Русь Святую и за честь русского имени“. Еще до начала Второй мировой войны роман был закончен и подготовлен к печати, но так и не увидел света. После всего пережитого В. И. переписал его заново, обогащенный новым опытом встреч, размышлений, переживаний.

По собственному признанию автора, он поставил себе задачей „представить... как можно правдоподобнее период **отрезвления** русских людей на низах, в рядах революционеров и особенно в среде трудовой и здоровой части русской интеллигенции“. Возможно, задача оказалась не под силу скромному литературному дарованию автора, но нельзя не оценить её исключительной важности и актуальности в наше время. „Без этого **прозрения**, без этого пробуждения инстинкта самоохранения, появившихся, к несчастью для России, слишком поздно, не бывать бы и Добровольческому движению с Ледяным походом, с беззаветной храбростью в безнадежной борьбе против Красного Молоха и с „жертвою вечерней“ русской молодежи, которая десятками тысяч безропотно гибли на родных полях за Русь Святую“.

Надо сказать со всей откровенностью, что такого пафоса, такой безусловной преданности и верности идеалам Святой Руси трудно было ожидать от представителей последовавших поколений, имевших свои идеалы и свой тяжкий опыт, но утративших безнадежно высокий идеализм „офицеров, юношей и, часто, девушек из всех народных слоев“, которые „омыли своей кровью русскую гордость и честь“. Веруем и мы, что кровь их была пролита не напрасно, и что последующие поколения наших соотечественников будут достойны этой высокой жертвы.

К сожалению, подчеркнем это еще раз, литературное воплощение этой ответственной и важной темы до сих

пор, и не только у Криворотова, оставляет желать много лучшего. Какой-то рок довлеет в XX столетии над русской словесностью: утрачено нечто существенное, можно говорить о катастрофической потере вкуса, и это даже у самых великих и прославленных литераторов...

Вторая важная тема романа, тесно связанная с первой – тезис о „нерусской“ революции в России, о „интернациональном комплоте“.

Весьма интересно следующее рассуждение автора: „Кто пришел у нас к мысли о „нерусскости“ готовившейся у нас революции? Во-первых, те, которые сами активно и долгие годы принимали участие в этом движении, разгадали его смысл и главную цель и заглянули открыто в физиономию тому Молоху, который цепко держал это движение в руках, организовывал, направлял и платил издержки. Эти люди называли себя „русскими революционерами“, были идейными борцами за правду и право для всех и, будучи беззаветными идеалистами, никогда не отрывались от реальной жизни. Мечтая о лучшем, они не выпускали из виду существование злого, что и помогло им прозреть вовремя и ударить в набат... Они настаивали на открытой, лояльной борьбе словом и убеждением и мечтали о духовном перевоспитании людей. Короче говоря, они ставили себе целью вызвать духовную революцию, убежденные, что только через нее может произойти материально-социальная...“

Подобный подход к „русским революционерам“, повидимому, определил и веру В. И. в возможность духовного возрождения в современной России – тема, которой посвящены многие его статьи и письма.

В. И. считал, что „народнение русской возрожденческой идеи не должно быть выносимо и обсуждаемо нами на западноевропейском базаре, и еще меньше мы можем пользоваться для её формирования западноевропейскими советами. То, что происходит теперь в подсознательных глубинах души нашего народа в России, совершенно чуждо западноевропейскому пониманию.“ Между прочим, поэтому он был убежден, что „идейно, вопрос

Солженицыных – наш строго интимный русский вопрос, не терпящий ничьих посторонних вмешательств“. В статье, посвященной разбору „Ракового корпуса“, он предсказывал, что „западнический шум вокруг имени Солженицына в печати затихнет, не принеся ни ему, ни русскому народу никакой пользы... Наш критерий оценки деятельности Солженицына должен быть более глубоким, серьезным и всесторонним, ибо его мысль, поиски и окончательные умозаключения могут уже завтра влиять на нашу русскую судьбу, как влияли когда-то... идеи Толстых, Кропоткиных и Герценов“.

Создание „настоящей, правдивой и глубоко-национальной русской возрожденческой идеи“, которая помогла бы ускорить процесс воскресения нашей родины, В. И. считал делом первоочередной важности для русской эмиграции. Его мысли об этом сохраняют острую злободневность.

„Первостепенной, весьма важной и ответственной задачей русской национально-мыслящей и чувствующей эмиграции было, в силу сложившихся обстоятельств, заполнить тот разрыв, который наступил между нашим прошлым и тем будущим, в которое мы не только можем, но и обязаны верить, помогать его скорейшему наступлению и создавать те идейные основания и предпосылки, из которых начнет свой гигантский рост наша **новая** Россия. Наш великий народ, обманутый и опутанный в России кознями нечистой силы, десятки лет пребывает в состоянии опасной летаргии, навязанного ему самозабвения и самоотрицания. Он тщательно изолирован от своего лучшего прошлого. И тем ярче выдвинула и поставила перед его глазами нечистая сила все худшее из него, чтобы сделать из русского человека Ивана, не знающего родства, ненавистника всего русского и покорного раба какой-то космополитической бессмыслицы. Самой изощренной клеветой и ложью она старалась более полувека замутить и отравить все те наши животворящие истоки, из которых черпала свои духовные и моральные силы русская народная душа. Нашей святой задачей является

создавать противоядие, очищать и охранять эти источники и сохранять их чистыми и свежими до той многожданной поры, когда наш народ проснется от кошмарного сна и будет искать их, чтобы омыть в них свое окровавленное лицо, чтобы прозреть, духовно воскреснуть и глянуть сознательным взором в свое новое русское будущее“.

Ожидая исполнения поставленной задачи от эмиграции, В. И. вместе с тем чутко отметил возникновение нового явления на родине, которому придавал исключительное значение. „Вне всякого сомнения – писал он – в России с необоримой силой вырастает мощная национальная оппозиция, водительницей которой является новая народная интеллигенция... Возрождение русского народа началось и никому его больше не задержать, ибо началось оно под сенью КРЕСТА и готово стать общенародным русским движением“.

И здесь же мы находим слова, которые удивительным образом перекликаются с публикуемым в настоящем выпуске «Вече» Обращением Л. Бородина к русской эмиграции. В. И. Криворотов писал (более десяти лет назад): „Было бы страшно неразумно и преступно, со стороны зарубежной партийной разноголосицы, помешать нормальному развитию этой оппозиции и кристаллизации тех **новых национальных сил, которые знают, видят и чувствуют, что нужно делать для полного и истинного возрождения России**“.

В. И. подчеркивал: „Роль ЗАРУБЕЖНОЙ, здоровой, национально мыслящей интеллигенции – исключительно осведомительная и советодательная. Она должна свести вместе наступивший когда-то разрыв, и – протянув руку новой народной русской интеллигенции – оказать ей всестороннюю помощь, чтобы найти верный и безошибочный путь в свою РУССКОСТЬ. Эмиграция не может, не должна и не смеет сыграть в дни рождения новой России мизерную роль партийно-мещанских агитаторов западного типа, всегда попадающих на невидимый поводок нечистой мировой силы. Возрождение России, как и

её развитие в столыпинские времена, требует времени и внешнего, и внутреннего спокойствия...”

В своей литературно-публицистической деятельности В. И. Криворотов и стремился выступать в роли „информатора“ новых русских поколений о тех силах, которые, по его убеждению, привели к катастрофе России.

„Чья-то неумолимая рука, пишет о старой России невероятные истории, самые унижительные небылицы и самую хитро-сплетенную ложь. На протяжении полувека эта рука не уставала писать свои памфлеты, свою клевету и бессовестные выдумки на всех языках мира против нашей страны и народа. Люди, которые изощраются в неправде о старой России, не устали еще, очевидно, плести свою грязную ложь на все то, что составляло когда-то её бытие и высокий смысл. Они еще и теперь боятся, чтобы внешний мир не узнал истины об их подпольной, разрушительной работе против всех лучших человеческих начинаний. Эти наши заклятые враги с неиссякаемым упорством клеймят Россию, её царей и народ, ибо боятся еще и теперь появления того огромного возрожденческого духа, который, как неугасимая лампада, горит дальше в душе молодой русской нации, еще не сказавшей своего последнего слова“.

Н. Бердяев утверждал в свое время, что „человек, допустивший себя до одержимости идеей мировой опасности и мирового заговора масонов, евреев... перестает верить в Божью силу, в силу истины“. В. И. почитал себя истинно верующим православным, но при этом был безусловно убежден в существовании „мирового заговора“; эта идея отразилась и на его религиозных представлениях, не во всем согласующихся с церковным учением...

В письме рецензенту своего романа В. И. указал: „Концепция о „мировом заговоре“ темных сил не моя. Эта концепция выросла давно, в веках прошлого из практического наблюдения большого числа выдающихся людей мира, чувствовавших себя так или иначе ответственными за судьбу и благополучие управляемых ими народов...”

В цитированном уже письме к А. И. Солженицыну В. И. обращал его внимание на „вопрос“, изучению которого посвятил столько времени и который стал для него своего рода навязчивой идеей: „Я думаю, что Вам, как человеку, проявившему столько любви и заботы к своему подъяремному народу и с опасностью для своей жизни выступившему на его защиту, необходимо познакомиться с еврейско-русским вопросом основательно, чтобы иметь полное и правдивое представление о влиянии этого окаянного вопроса на нашу русскую жизнь до революции, во время её и в последовавшие страшные будни“.

Не вдаваясь в оценку отношения покойного к этому, действительно, чрезвычайно злободневному „вопросу“ и не будучи согласными с ним в его крайних выводах (рассуждения о Ветхом Завете), надо признать, что им руководили идеальные представления о „правде и праве для всех“. Пусть будет Господь ему Судьей в том, в чем он заблуждался, – но вся жизнь В. И. Криворотова была посвящена России и знавшие его русские люди не могут не помянуть его добрым словом.

Е. В.

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski
8000 München 2, Theresienstr. 118-120 (West Germany)

„Христианин – не Христос, а мессианист – не Мессия“

Иногда и ложные идеи, оформленные в виде упреков, имеют положительное значение, ибо, в диалектическом порядке, вызывают реплику, освещающую ту же тему в более широком и истинном изложении. Так и случилось с „письмом в редакцию“ В. Х., напечатанном в 14-м выпуске «Вече», вызвавшем ответ Редакции журнала и статью Людмилы Келер „И один в поле воин...“

Письмо В. Х. имело в виду 12-й выпуск «Вече», посвященный А. И. Солженицыну в связи с его 65-летием. Косвенно была задета и моя статья „Внутриобращенный мессианизм А. И. Солженицына“, вызвавшая в В. Х. „дрожь“ и „ощущение кошунства“. Ему показалось, что Солженицына именуют „феноменом, пророком и даже мессией.“ Чур, чур! – это выражение является примышлением В. Х., а в моей статье его нет! Но, если это **так** привиделось В. Х., то возможно, привиделось и кому-либо другому. Поэтому, в порядке разъяснения, покорнейше прошу редакцию «Вече» напечатать это письмо во избежание возможных дальнейших терминологических недоразумений.

О том, что такое мессианизм, напечатана была моя статья в «Голосе Зарубежья» (№ 13, 1979). Там было указано, откуда этот термин берет свое начало, какова история этого понятия, каковы многообразные его воплощения. Там же краткая библиографическая справка. Упомянем теперь, что „мессиановедение“ (мессианология) пред-

ставляет собой одно из новейших ответвлений историософии, что существует энциклопедический словарь ¹⁾ мессианизма и что в независимой Польше, в Варшаве, существовал Мессианический Институт (философское общество и издательство).

Аналогично тому, как – еще до пришествия Иисуса Христа – существовало так наз. „естественное откровение“, не только среди иудеев, но и среди язычников. как бы подготавливавшее человечество к принятию Откровения (Новый Завет!), так и, с сохранением пропорций, можно сказать, что элементы ветхо-заветного мессианизма, в разном сочетании, или в различной насыщенности, присущи были и древним народам, и народам современным. Отсюда – множество „мессианизмов“, которые, по сути дела, почти всегда являются „миссионизмами“, гегемонизмами, империализмами и т.п. Как же разобраться в таком лабиринте? Предлагаем, в качестве исторического камертона, следующий принцип: Сохраним это название, с окачествованием „ветхозаветного“, за еврейским народом, откуда само слово „мессия“ (помазанник, спаситель) и взято. (См. нашу статью „Еврейский мессианизм“ в «Вестнике РХД» № 121, 1977). Сохраним это название за польским социо-культурным феноменом XIX века, создавшим сам этот термин, откуда он впоследствии перешел и в другие языки. Все же иные историософские концепции предлагаем употреблять только относительно тех идеологий, которые просветлены духом явленного Мессии, Иисуса Христа. Пример: русский мессианизм, как идеал Святой Руси! И в такой именно перспективе предлагаем следующее определение:

Мессианизм есть та национальная идеология (программа), которая включает в себе все или по крайней мере некоторые из следующих элементов: призывание к участию в судьбах человечества путем служения, учения, страдания или искупления, по аналогии с основными темами жизни явленного Мессии, Иисуса Христа, в эсхатологической или апокалистической перспективе и во исполнение замысла Божьего о человеческом роде.

Осуществленного мессионизма история еще не знает. Это есть направление дальнего прицела, равно как и заповедь: „будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный“ (Матф. 5, 48). Это путь „христианизации государства“ – по слову польского мыслителя Августа Цешковского... „Мессианизмом“ никак не следовало бы называть безбожную или богоборческую идеологию!

В этой связи упомянем и о лексической непоследовательности русского языка в этой области: одно и то же прилагательное „мессианский“ производится от двух различных существительных – „Мессии“ и „мессианизма“. Наши попытки внести неологизм – „мессианический“ – как правило, остаются бесплодными, не будучи в состоянии преодолеть корректорские барьеры. Наглядный пример: сравните выражения – „мессианское достоинство Иисуса Христа“ и „мессианические историософские концепции“!

В трудах на мессианические темы, я стараюсь отметить разницу между „мессианизмами“ и „миссионизмами“, понятиями отчасти сродными, но отнюдь не тождественными. И сразу же возникает подобное терминологическое затруднение: каково должно быть прилагательное от слова „миссионизм“? Производными от слова „миссия“ суть: миссионер, миссионерский. Но нельзя же, в самом деле, планы Гитлера, провозглашавшего гегемонию германской расы, называть „миссионерскими“?! Остается запросить пуристов русского языка, какое прилагательное от „миссионизма“ предпочтительнее: „миссионический“ или „миссионистский“.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

К 1000-летию Крещения Руси

Приближается 1000-летняя годовщина Крещения Руси. Учитывая сложившуюся в мире реальность, становится совершенно ясным, что Зарубежной Руси предстоит одной, опираясь на весьма скромные силы и возможности, отметить этот важнейший юбилей не только русской, но и всемирной культурной и духовной жизни.

Скажу больше: именно Зарубежной Руси необходимо взять в свои руки организацию предстоящего торжества, чтобы предотвратить попытку со стороны советской власти использовать в своих целях юбилей, а также возможное посягательство римско-католической Церкви, исказить важнейшее историческое событие в жизни Руси. Вспомним, что не так давно папа римский Иоанн Павел II заявил официально, что Русь получила крещение от католической Церкви. Тогда нашелся ему ответить лишь Оливьер Клемент на страницах парижской газеты «Ле Монд».

Тысячу лет назад, когда в Западной Европе царил панический страх, вызванный ожиданием конца мира, Русь вступила без страха и трепета, с огромным энтузиазмом, в эпоху своей христианской истории. Существует множество глубоких анализов государственного и культурного развития стран восточной и западной Европы, в которых освещаются с различных точек зрения геополитические и религиозные причины возникновения разных мировоззрений у православного и католического обществ,

для объяснения того факта, что Русь (и Россия) – это нечто иное, нежели Европа. В сознании европейца Русь не признается полноправным членом Европы. В сознании же русского, Европа является примером, достойным подражания (главным образом, со времени Петра Великого), но в слишком узком кафтане. Для России европейские мерки не подходят.

Судьба этих двух величин должна быть упомянута, если речь касается исторического развития. Известно, что Европа вышла из культурной колыбели Римской империи, она строилась на её фундаменте, она впитала в себя её юридические, административные, культурные и духовно-религиозные ценности. В то же время, нашим далеким предкам – поднепровским славянам – приходилось бороться за свое существование с „дикой степью“ и строить свою государственность практически с нуля.

Между поднепровскими славянами Киевщины и причерноморским древне-греческим, а позднее римским миром, существовали тесные связи, о чем неоспоримо свидетельствует археология, историография и упоминания в памятниках древности, таких как например „Слово о полку Игореве“. Существовали как торговые, так и политические связи.

Однако периодические нашествия с „дикого поля“ или германских племен обрывали связь славян с цивилизованной Европой и отбрасывали на века славянские народы от культурных центров, что замедляло их развитие.

Тем не менее, благодаря по-истине поразительному упорству славянских народов, сближение Руси с Византией состоялось и привело со временем к осуществлению замысла самого выдающегося властителя земли нашей, Великого Князя Владимира „Красное солнышко“, к крещению Руси. После этого, спустя лишь несколько десятилетий, Киев стал почти равным Царьграду и самым культурным центром Европы.

Но борьба со степью не прекращалась, а обострялась. Битва на Калке и окончательное порабощение Руси тата-

рами на 250 лет, конечно, отразились – не могли не отразиться – на русской культуре и цивилизации. Хотя это и праздный вопрос, все же нужно призадуматься над тем, какова была бы судьба Западной Европы, если бы Батый не повернул свои полчища обратно в Орду? Могли бы мы еще любоваться готическими соборами и башней в Пизе? Вероятно, как и на Руси, все это было бы уничтожено.

Итак, вплоть до XIX века Русь боролась со степью: то за свое существование, то за спокойствие на своих границах. Часто упускается из виду, как много зла натворила в Малороссии Турецкая империя, прямая наследница татарских ханов. В XVI-XVII веках русские рабы славились своею силой и выносливостью на всех торгах средиземноморского мира. Французский министр Кольбер, например, покупал у турок русских гребцов-рабов, на свои королевские корабли. Все сказанное выше – общеизвестно.

В России сегодня вряд ли прозвучит голос, воздающий должное Руси с некоммунистической точки зрения. Вряд ли и Западный мир, со свойственным ему себялюбием, способен оценить величие духовно-культурного вклада, внесенного Россией, за свою тысячелетнюю христианскую историю, в мировую сокровищницу.

В отсутствии национального Российского государства, зарубежная Россия обязана выполнить свой долг перед историей, и как во все предыдущие десятилетия, начиная с 1917 года, защитить честь русской христианской культуры. Если все эти годы она вела бой – неравный бой – с советской антирусской пропагандой и с зарубежной антирусской предвзятостью, – не следует ли ей сейчас кое-что обдумать, пересмотреть, сделать некоторые выводы?

Бесспорно, что любой эмиграции присуща разновидность мнений – русской же особенно. Очень печально отмечать, что разновидность мнений приводит подчас к враждебности, что, конечно, поддерживается врагами России. В результате – бесплодно тратится много сил. Нам же следует призадуматься над некоторыми существенными проблемами XX-XXI веков, чтобы не остаться на задворках истории.

Например, какие этические и моральные, с точки зрения православия, ответы мы можем предложить на всевозможные готовящиеся биологические манипуляции? Как Россия будет справляться с проблемами, возникающими в ходе развития технологической революции в ближайшие годы: со своих собственных или с чужих позиций? Много и других вопросов, связанных с прошлым, настоящим и будущим России, должны нас интересовать и волновать. Это требует создания Собирающего Центра, где мог бы осуществляться обмен мыслями, где была бы представлена Россия зарубежная. Вот почему необходимо к 1000-летию Крещения Руси поставить цель создания Центра Русской Культуры, который одновременно являлся бы научным Центром русской (зарубежной и отечественной) культуры, активным двигателем в борьбе за русскую идею, за русское дело и защитником России во всех областях, где это требуется.

Такой Центр оправдал бы себя, ибо желающим познакомиться с Россией, её культурой он мог бы предоставить материал, который сейчас приходится искать по всему миру. Такими центрами располагают многие нерусские эмигрантские группировки на Западе. Почин создания Центра Русской Культуры к 1988 году мог бы, по своему направлению и целям, взять на себя альманах «Вече».

А. Федоров. (Париж)

**НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
АЛЬМАНАХА „ВЕЧЕ“**

приобрести замечательную, единственную в своем роде книгу

СКЛОНЕН К ПОБЕГУ

Автор книги Юрий Александрович Ветохин — русский, глубоковерующий православный человек — рассказывает о своей беспримерной, героической, длившейся 20 лет борьбе за свободу.

После двух неудачных попыток бегства из Советского Союза: вплавь из Батуми в Турцию, а затем на надувной резиновой лодке из Крыма в Турцию, Ветохин отбыл девятилетнее заключение в советских тюрьмах и в Днепропетровской психиатрической больнице специального типа. Непреклонная воля, непоколебимая вера в Господа Бога и железная целеустремленность помогли Ветохину выдержать жесточайшие пытки палачей от медицины, жертвой которых он стал в Днепропетровском психконцлагере КГБ.

Последняя попытка бегства вплавь с советского теплохода „Ильич“ в Индонезию в Молуккском море окончилась успешно. В конце 1979 года Ветохин обрел долгожданную свободу.

На 544-х страницах своей живо и увлекательно написанной книги Ветохин рассказывает о пережитом, пережитом, обдуманном и выстраданном им на пути к свободе, длившемся двадцать лет.

Книга прекрасно издана, в твердом коленкором переплете с иллюстрациями и фотографиями. Цена книги, включая пересылку, 21 американский доллар. Заказы направлять автору по адресу:

Mr. Yurii Vëtokhin
P. O. Box 16084,
San Diego, Ca. 92116, USA

«ВЕЧЕ»

Независимый русский альманах

В Европе

цена отдельного номера

15 нм

подписка на 4 номера

50 нм

В Америке и др. заокеанских странах

цена отдельного номера

9 ам. долл.

подписка на 4 номера

30 ам. долл.

Пересылка простой почтой в Европе и воздушной
почтой за океан включена в стоимость подписки

Цена отдельного экз. „Вече“ №№ 1, 2 и 3 в Европе —
24 нм, в США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.

Цена сдвоенного № 7—8 „Вече“ — в Европе 24 нм, в
США и др. заокеанских странах — 14 ам. долл.

Желаю оформить подписку
на 4 номера альманаха „Вече“, начиная с №.....

Фамилия, имя

Адрес

.....

.....

Оплату произвожу
приложенным чеком

почтовым переводом

Заполненный талон, чек или почтовый перевод
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RNV) e. V.
8000 München 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

ВЕЧЕ

„Вече — древне-русское слово, которое означает народное собрание, сход с целью совещания... В русских летописях слово В. употребляется в тройном значении:

- 1) в смысле народного собрания вообще...*
- 2) в смысле совещания вообще, даже тайного совещания-заговора...*
- 3) в смысле органа политической власти..."*

*Энциклопедический словарь,
т. VIIА С.-Петербург, Типо-
Литография И. А. Ефрона,
1892*

„Вече (от „вещать” — говорить) — народное собрание в Древней Руси, являвшееся высшим органом власти в некоторых русских городах 10-15 вв..."

*БСЭ, второе издание, т. 7
Москва, 1951*

„Вече” (общеслав.; от старослав. вет — совет), народное собрание в древней и ср.-вековой Руси для обсуждения общих дел..."

*БСЭ, третье издание, т. 4
Москва, 1971*

**Издание Российского Национального
Объединения в ФРГ**

**Herausgeber: Russischer Nationaler Verein e. V.
Theresienstr. 118-120, 8000 München 2**